

«ДАНЬ ПАМЯТИ».

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ РУБРИКА!

Уважаемые посетители официального Интернет-сайта Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси www.pisateli.by! 2020 год является во многом знаковым для белорусского общества. Прежде всего, это год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этой священной дате отводится важное место в творчестве литераторов нашего региона, уделяется самое пристальное внимание в отечественном информационном пространстве. Также текущий 2020 год является итоговым рубежом в трёхлети малой родины (2018-2020). Вдохновлёнными её сакральным образом и темой Великой Победы нам посчастливилось жить и трудиться под мирным небом, воспитывать детей, преодолевать трудности на пути в наше завтра. Мы уверены: благодаря нашей памяти, её нетленному очагу в людских сердцах, будущее Беларуси будет светлым. О ней, памяти, как о связующем звене времён, как о фундаменте исторической правды и голосе души народной сказано немало. Пускай же новая литературная рубрика, которую мы, писатели Принёманского края, открываем на нашем сайте в этом году, сделает негасимый свет нашей памяти ещё ярче, кому-то на миг поможет вернуться в прошлое, а кому-то поможет прозреть, укажет дорогу в будущее... Итак



Ирина ПОЛУДЕНЬ

Мысли по поводу

Я не так много живу на этой Земле. Я люблю жизнь. Я люблю свою землю, свою Беларусь. Беларусь – это звучит гордо. Я – белоруска. Свою национальность я унаследовала от отца. Он очень любил свою страну и гордился тем, что он – белорус. Теперь я понимаю, что свой путь он выбрал неслучайно. Я убеждена, что каждый человек приходит на эту землю для чего-то. У каждого есть какое-то предначертанное призвание, предназначение. Я думаю: так же, как есть день и ночь, свет и тьма, рождаются люди, одни из которых несут свет. Это не свет электрической лампочки, которую можно зажечь в темноте, и всем сразу станет светло. Такой свет не греет душу человеческую. Лампочка может перегореть, её можно заменить другой. В моём понимании свет исходит от людей, но не от всех. Есть светлые люди, которые делают других счастливыми. Они вселяют в человека надежду, который, может быть, по каким-то причинам её потерял. Они верят во всё лучшее, что есть в людях, казалось бы, даже, в безнадежных. Они несут в себе любовь. А любовь, как известно, творит чудеса. Она исцеляет, даёт смысл жить, и человек восстает из пепла, как птица Феникс. Для меня таким светлым человеком стал мой отец. Он был очень хорошим отцом, любящим. Он был самым младшим ребёнком в семье, в которой было одиннадцать детей. Его мать, моя бабушка Ксения и его отец, мой дедушка Филипп, очень любили друг друга. Мой папа был рождён в любви, согласии, уважении. Наверно, люди, рождённые в любви, призваны нести любовь другим людям. Я не помню, чтобы папа когда-либо повышал на меня голос. Зато я помню, как он играл со мной маленькой. Вообще, я помню себя где-то с полутора лет. Я помню, как он держал меня за ру-

ки, а я прыгала на старой, с железными пружинами кровати, и радостно смеялась. Причём, чем выше я подпрыгивала, тем сильнее я ощущала папины руки. Я тогда, будучи совсем маленьким ребёнком, ощущала его поддержку, может быть где-то интуитивно, осязаемо. Я улавливала на каком-то не ведомом уровне, что эти мои прыжки доставляют удовольствие не только мне, но и папе. Я чувствовала, что он хотел вот этих моих прыжков, выглядевших со стороны, наверное, детской наивной шалостью. И для меня было ощутимо, что чем выше становились мои прыжки, тем счастливее был мой папа. Я видела, что он хотел доставить мне радость, чтобы мои прыжки были как можно выше, и я старалась по-детски изо всех сил. Я чувствовала его сильные, надёжные, и в то же время такие ласковые, тёплые руки, и я не боялась упасть. Сейчас, с годами, по истечении такого количества времени, когда я стала уже взрослой женщиной и у меня самой появилась на свет дочь, я поняла для себя, как это было ценно, важно, значимо в моей жизни. Это предопределило мой жизненный путь, как раньше говорили, дало мне путёвку в жизнь.

Я помню, как мы гуляли с папой. Мы ходили на прогулки, собирали опавшие кленовые листья. Я очень любила маленькой кататься на качелях. Мне нравилось ощущение полёта. Папа раскачивал меня сначала потихоньку, потом посильнее, и вот я уже взмываю вверх всё выше и выше. Я видела, что это доставляет удовольствие не только мне, но и папе. Может быть, вот именно в такие минуты и происходит то самое великое единение душ. У меня не было страха, я не боялась упасть. И на самом деле, я ни разу не упала с качелей. Не падала я и тогда, когда уже сама стала кататься и была повзрослее. Я была уверена в себе и не боялась упасть. Наверное, поэтому я и не падала с качелей. А ещё, наверное, по тому, что рядом был папа. Он просто сидел на скамейке неподалёку и читал газету. Как это было важно для меня!

А ещё я помню, как мы с папой пели старинные романсы, народные песни и русские, и белорусские. Я ещё тогда не умела читать и тем более писать, но знала их наизусть. Я и сейчас, по истечении времени их помню, мало того, я их люблю, они живут во мне, в моём сердце. Я их пела своей маленькой дочке, и без «Купалінкі» она не засыпала, сама просила меня спеть ей. И я, несмотря на свою усталость, которая скапливается за день, даже когда чувствовала, что вот-вот усну, всё равно, преодолевая сон, пела «Купалінку». И возможно иногда засыпала раньше, чем дочка, а может и одновременно с ней. И на самом деле, эта песня успокаивает, убаюкивает, и в душе воцаряется мир и покой.

А ещё я помню, как папа читал мне книги, журналы. В те годы выпускали журнал «Вясёлка» на белорусском языке. Там были забавные истории. Я помню, там часто печатался Кондрат Крапива. Познакомилась я с его произведениями намного раньше, чем стала изучать в школе, и когда



встречались знакомые басни, многие из которых я знала наизусть, мне становилось радостно. Такую радость я испытывала в дальнейшей своей жизни, когда встречала хороших знакомых, друзей, от которых на душе становилось светло и легко. Я помню, как мы с папой хохотали от души после того, как он прочитал коротенькую сценку, где медведь, обращаясь к зайцу, говорит такие слова: «Што!? Ды як ты пасмеў! Во зараз як стукну, дык і не пікнеш!» Я помню: только папа дочитал эти строки, мы с ним, не договариваясь, как по команде, одновременно стали весело смеяться, что называется до упаду. Потом, когда у меня родилась дочь и стала подрастать где-то в таком же возрасте я и ей рассказала эту фразу и мы тоже с ней, помню, весело смеялись, громко смеялись. Вот. Слова эти, казалось бы, не несут в себе позитив, как теперь принято говорить. Но теперь я понимаю, какой смысл в этом был. Во-первых, они были напечатаны в любимом мне журнале.

А ведь в любимом журнале разве могут напечатать плохое? Наверное, тогда у меня было может быть где-то неосознанное доверие. Во-вторых со мной был мой папа, а значит у меня есть

уверенность, что ничего плохого со мной не может случиться. И самое главное, каким тоном, с какой интонацией голоса они были произнесены. Тон был мягким, интонация была тёплой, я чувствовала прикосновение папиного плеча. А ещё я ощущала, что папа сильный. Он же мужчина! А мужчина такой взрослый, такой высокий, наверное, в моём детском понимании не может быть слабым. Да.

Я помню, папа читал мне «Новую зямлю» Я. Коласа. Как мы с ним от души смеялись! Некоторые отрывки я запомнила на всю жизнь и потом наизусть читала своей подрастающей дочке. Ведь она у меня тоже белорусочка, и для неё это было важно, близко, ценно.

Папа читал мне много детской литературы великой русской и белорусской. И папа, и мама покупали мне много книг, у меня была своя маленькая библиотека. Мне с детства привили любовь к книге. Книга была для меня самым лучшим подарком. Помню, на моё четырнадцатилетие папа подарил мне книгу «Навекі юныя» про белорусских юных партизан. Эта книга меня глубоко тронула. Я перечитывала её несколько раз.

Я научилась читать и на русском и на белорусском, практически, одновременно. Любила Чуковского, басни Крылова. Многие знала наизусть. Моя маленькая дочка в три годика знала пять-семь басней Крылова наизусть, «Муху-Цокотуху» Чуковского рассказывала очень артистично и запомнила это произведение, наверное, со второго моего ей прочтения. Я сделала вывод: надо обязательно читать детям сказки, басни, чтобы малыши были восприимчивы к добру, чтобы отличали хорошее и плохое. Некоторые современные психологи ратуют за то, что вместо сказок детям надо читать газетные статьи. Но возникает вопрос: что же тогда из них вырастет? Или кто? Ведь именно с ранних лет надо приобщать ребёнка к своей культуре, чтобы он знал песни, сказки, обычаи своего народа.

Я помню поездки к бабушке Ксенье в деревню Прохоровку. Это была папина малая Родина. Дом бабушки стоял на окраине деревни у самого леса, буквально, пять шагов – и ты уже в лесу. Мой папа очень любил этот лес. Наверное, в нём он чувствовал себя свободно и легко. Когда мы входили в лес, папа пел, я это хорошо помню. Пел громко, всей душой. У него был от природы очень хороший музыкальный слух. Он сам научился игре на мандолине. У него был красивый, приятный тенор. Он знал несколько арий из наиболее известных опер. Хороший музыкальный слух я унаследовала от папы, что дало мне возможность без особого труда поступить в музыкальную школу в моём родном городе. Когда я была во втором классе общеобразовательной школы, я стала учиться и в музыкальной школе, которую через семь лет закончила успешно. Мне купили настоящее пианино. Для меня это был праздник. Особенно я любила подбирать мелодии, песни по слуху. Папа тоже мог, правда, одной рукой, подобрать любую мелодию на пианино, хоть и никогда не учился игре на этом инструменте. Я помню, когда я играла на пианино, папа подходил ко мне, гладил по голове и целовал мои волосы.

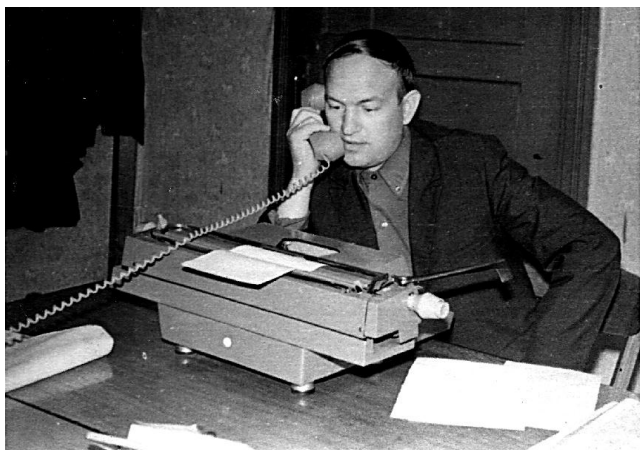
Папа отводил и забирал меня с общеобразовательной школы и с музыкальной школы. Он работал журналистом в районной газете «Ленінскі кліч», но у него была возможность уделять мне, единственной дочери, так много внимания. Мама моя такой возможности не имела...

Уважаемые читатели!

Вашему вниманию представлены произведения моего отца Ковзелева Николая Филипповича. Я думаю, что они будут вам интересны. Надеюсь, что вы дадите им положительную оценку. Я очень рада, что эти произведения увидели свет. Считаю своим долгом представить их широкому кругу читателей.

Ваша

Полудень Ирина Николаевна



Мікалай КОЎЗЕЛЕЎ

Коўзелеў Мікалай Піліпавіч нарадзіўся 10 верасня 1939 года ў вёсцы Прохараўка Краснабудскага сельсавета Крычаўскага раёна Магілёўскай вобласці ў шматдзетнай сям'і селяніна, адзінаццатым дзіцем па ліку. У 1950 годзе скончыў Прохараўскую пачатковую школу, а ў 1957 годзе – Будзянскую сярэднюю школу і паступіў у Крычаўскую тэхнічную вучэльню № 5. У 1958 годзе скончыў вучэльню па спецыяльнасці машыніст парасілавых і дызельных устаноў. У верасні 1958 года паступіў на службу ў вайсковую частку ў г. Крычаве ў якасці стралка-ахоўніка. Працаваў у вайскавай частцы да лютага 1959 года і затым быў прыняты літсупрацоўнікам Крычаўскай раённай газеты "Шлях сацыялізму". У 1962 годзе паступіў на філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педінстытута і скончыў яго ў 1967 годзе па спецыяльнасці "настаўнік рускай і беларускай мовы і літаратуры". Са жніўня 1967 года працаваў загадчыкам аддзела лістоў Крычаўскай раённай газеты "Ленінскі кліч". Са студзеня 1983 года працаваў карэспандэнтам у газеце "Віцебскі рабочы".

Коўзелеў М. П. у 1968 годзе ўзяў шлюб з Пячкоўскай Лідзіяй Пятроўнай. У шлюбе нарадзілася дачка Ірына.

Мікалай Піліпавіч Коўзелеў трагічна загінуў 31 сакавіка 1983 года.

ВЯСНОВЫМ НАДВЯЧОРКАМ

Ішоў паціху, без пэўнасці. Проста так пазіраў на домікі, парканы, агародчыкі, на нейкую жанчыну з вёдрамі ля калонкі, гаманлівых дзяцей, на праязджаючыя машыны.

Тут, у аддаленым кутку чыгуначнага пасёлка, яму было вольна, спакойна. І толькі працяжна-абрыўныя гудкі цеплавозаў ды маняўровых паравозаў аддаваліся ў душы вастраватым спалогам – ці ад непрывычкі, ці так нечаму...

Пахла вясною.

У лужынах паблісквалі промні сонца, якое ўжо збіралася сядзець за гарызонт. Надыходзіў вечар, а не халаднела, і Павел для большай вольнасці расшпіліў паліто, расхінуў на грудзях шалік.

Якая лёгкасць, якая бясхмарнасць!.. Ісці б вось гэтак і ісці – сярод чужых, але добрых людзей з іх дзецямі, пабудовамі, клопатамі і хуткімі, як бы безуважнымі позіркамі.

І Павел ішоў. І нібы ўтойваў ад самога сябе ўсё, што змусіла сесці ў набіты людзьмі аўтобус, паехаць сюды, у гэты пасёлак, нібы ўтойваў і тое, што робіць гэта ўжо не першы раз.

Быў спыніўся, калі зправа, у вузкатай вулцы, убачыў невялікі жоўты катэджык. Нібы што варухнулася ўнутры ў Паўла. Тут жа з чыгункі данеслася некалькі гудкоў. Яны былі

асцярожліва-нямоцныя – не дзеля таго, каб чалавек спалохаўся, а каб нешта памятаў, не забываў...

Павел марудліва набліжаўся да катэджа, абыходзячы лужыны, кучкі нападразмытага вугальнага попелу, што зімою высыпалі на вуліцу не надта ахайныя гаспадыні. У апошні раз ішоў тут, калі пяклі марозы, калі абапал высіліся гурбы снегу. Тады, як і ў папярэднія разы, ён прайшоў міма катэджа няспешна, жадаючы і не жадаючы ўбачыць каля яго або ў акне добра знаёмага чалавека.

Гэтак праходзіў вуліцаю і цяпер. І яму было добра, што апынуўся тут.

Вокны катэджа з зіхоткімі промнямі сонца засталіся ззаду.

А вуліцы, здавалася, няма канца. Але вунь там, за белымі мураванымі домікамі, яна возьме ўправа, працягнецца па пагорку і скончыцца ледзь не ля самай чыгункі. І ён наважыўся дайсці датуль.

Людзей сустракалася менш. Вось наперадзе ўжо нікога, толькі каля калонкі з намерзлай гурбай лёду хлопчык лье з вядра ваду ў блішчасты малочны бідон, які, відаць, не вельмі тывала стаіць на санках. Вось бідон хітнуўся, і хлопчык – гадоў дванаццаці – адскочыў ад яго: лінулася вада.

Лёня, ты ж асцярожней. Божа, абліўся ўвесь, цяпер валенкі сушыць трэба...

Ад бліжэйшага, пафарбаванага ў зялёнае, дома ішла поўная, у цёмнай хустцы, жанчына. Нічога страшнага, не бядуй, Анюта, высушыцца, – пачулася ля дома. – Гэта ж хлопец. Мае, бывала, так абальюцца – выкупаюцца... І нічога, выраслі.

У гэтым, другім голасе было нешта знаёмае. Павел паглядзеў – з гаспадарчай сумкаю, у плюшавым жакеце на вуліцу з таго ж дома выходзіла пажылая жанчына – з маршчынамі вакол вачэй і на трохі абвіслых шчаках. Няўжо цётка Рыпіна? Так, яна. Вунь ля самай гарбінкі носі вялікая я бародаўка. І ўсмешка, яе ўсмешка.

Не пазнала. Не дзіва – шэсць гадоў прайшло. Павел насталеў, а яна пастарэла.

Тым часам хлопчык ужо цягнуў санкі на пагорак, да хаты, а ззаду, упершыся рукамі ў бідон, яму пасабляла Анюта.

Ну, во і памочнік у Анюты. Бач, як упіраецца. Дужанькі... Во і ўсцягнулі. А адзежына высахне, калі трохі і намачыў. Мае, бывала, як папялэхтаюцца ў Сожы – ніткі сухой не знойдзеш... – гаварыла, спыніўшыся, цётка Рыпіна.

Каму ж гэта яна гаворыць – сама сабе ці яму, Паўлу? Здаецца, яму. Ён захваляваўся, паглядзеў чамусьці сабе пад ногі, нібы аб што мог спатыкнуцца, і зрабіў некалькі крокаў, павітаўся:

– Добры вечар, Рыпіна Апанасаўна...

Яна паміргала, пераступіла з нагі на нагу.

– Ой, дык гэта ж Павел, з Бакунавіч! – як бы ўстрапянула. – А я стаю сабе, размаўляю і не бачу, хто гэта. Ну, ты скажы... Ведама, старая чапля... Састарэла зусім, яй богу. Ты даруй ужо, на старых крыўдзіцца не трэба. Ну, а як жа твае бацька, маці? Памалу крэпяцца?

– Ды таксама пастарэлі, Рыпіна Апанасаўна...

– Будзеш у Бакунавічах – прывітанне ім перадай. Ну, а як жа ты жывеш? Чула, начальнікам стаў. Гаварылі: машынамі ды шафёрамі камандуеш. Яшчэ тады, калі ў мяне жыў на кватэры, бачыла я, што будзе з цябе толк. У мяне кватарантаў шмат перабыло, усіх не пералічыш. Дык ім што – клуб ды танцуюлькі, ведама – у галаве вецер. А ты ўсё з кніжкамі, бывала. За дзеўкамі не цікаваў. Чурумавы ўсе такія, сур'ёзныя. Я ж ведаю тваю радню. Дык ты, значыць, начальнікам...

– Быў начальнікам. А калі дакладней, то механікам.

– Ну, а цяпер?

На машыне, шафёрам. Як раней...

– А мне ж гаварылі...

– Правільна гаварылі, Рыпіна Апанасаўна. Быў начальнікам, без майго дазволу шафёр не мог выехаць з гаража...

– Дык няўжо не спадабалася камандаваць, правяраць? Быць начальнікам – гэта ж гонар, Павел. Ого, катораму дык нічога не трэба, дай толькі ўладу над людзьмі. Каб іншыя ім пакланяліся. А ты ж вучыўся, ты – інжынер.

– Як вам сказаць... Абставіны, Рыпіна Антонаўна. Абставіны жыцця. А калі гаварыць канкрэтней, то ў механіка аўтакалоны, зарплата не надта... Малаватая, хоць мне і хапала б... На МАЗах, КРАЗах зарабляюць больш. Ну, і я сеў на МАЗ. Па старой прывычцы, мел важу з кар’ера.

– Гэтак, так... А жонка хто у цябе? Можа, якая вельмі вучоная?

– Ды як сказаць... На маслазаводзе яна, у лабараторыі.

– Эйш! Нябось, тоўстая?

– Не, не вельмі, – засмяўся Павел.

– А дзетак колькі ў вас?

– Дачка ў нас.

– І хлопчыка вам не шкодзіла б займаць. А што? Адно дзіця – не дзіця. Гэта ж так дзіўна цяперака: жыць добра, усё ёсць, усяго хапае, а дзяцей раджаць не хочучь.

Гэта ўсё праўда, Рыпіна Апанасаўна. І бацька мне расказваў, і маці.

Але я хацеў сказаць, што з цяперашнім дзіцём столькі клопатаў, валтузні, спрэчак, што ... Культура вырасла! Трэба і апрацаваць яго добра, і вучыць не толькі ў адной школе, а ў некалькіх – у музычнай, у спартыўнай, у мастацкай... А памагаць няма каму – моладзь цяпер стараецца жыць асобна ад бацькоў... І дзеці растуць нейкія нервовыя, злосныя, усё мала ім, усё не ў лад...

Яны гаманілі, ішлі вуліцаю назад. Калі наблізіліся да жоўтага катэджыка, Рыпіна Апанасаўна ледзь не сілком пацягнула Паўла да сябе – яе жыццё-быццё паглядзець. Але ён усё адмаўляўся – не хацеў прыносіць ёй лішняга клопату, бо ведаў: без чаркі ад яе не выйдзеш. Тады цётка Рыпіна сказала, што ён нібыта не ў настроі, нечым прыгнечаны, таму і не хоча пабыць у доме, дзе калісьці жыў, няхай сабе і нядоўга, якіх дзесяць месяцаў, пакуль вучыўся на машыніста-дызеліста. Павел аднекваўся, дзякаваў, абяцаў прыйсці некалі яшчэ, не з пустымі рукамі, і, калі развітаўся, калі пачуў, як зачыніліся за цёткаю дзверы, падзівіўся: яе не падманеш, прыкмеціла, што на душы ў яго, сапраўды, ёсць нядобрае. Можна было б і зайсці, пабыць, але ён пабаяўся: ужо дзве гадзіны як ён выйшаў з кватэры...

Халаднела, гучнелі гудкі цеплавозаў, сустракалася больш людзей у бліскучых ад масла штанах і ватоўках: недзе ў дэпо ці ў аглядчыкаў вагонаў, мусіць, скончылася змена.

Ладны натоўп быў і на аўтобусным прыпынку. Павел спыніўся воддаль, закурыў. Калі з-за павароткі паявіўся аўтобус, натоўп заварушыўся, кожны цягнуў трапіць бліжэй да дзверцаў. Нямала людзей сядзела і стаяла і ў аўтобусе, і Павел наважыўся не лезці, не таўчыся – усё роўна не праціснецца.

– Нінка, хутчэй трымайся за мяне! Ну, што ж ты?.. Не адставай. Дзе твая ручка, давай мне сваю ручку, – маладая рухавая жанчына ў чырвоным прыталеным паліто цягнула за сабою дзяўчо гадоў шасці. Было ясна, што яны ўжо не змогуць сесці ў аўтобус, але жанчына ўсё працісквалася, усё цягнула дзяўчынку і спынілася толькі тады, калі дзверцы зачыніліся.

– Ну вось, праваронілі мы, спознімся да бабулі, – сказала жанчына і павярнулася, як бы аглядаючы ўсіх, хто застаўся на прыпынку. Тады і пазнаў яе Павел. І яна пазнала яго.

– Хадзі сюды, Нінка, вунь дзядзя знаёмы стаіць, – паказала з усмешкаю на Паўла Зоя Красікава, і яны падыйшлі да яго.

– Вельмі ўжо энергічна буксіруеш ты сваю дачку, – пасля прывітанняў сказаў ёй Павел. – А яна цярплівая, не плача, лезе за табою, як нітка за іголкаю...

– А што ж? – скажы, дачуня. Няма чаго губляцца. Гэта мая разумніца, гэта ж мая ўся радасць, – і Зоя чмокнула Нінку ў шчаку. – А ты чаму адзін, без сваёй мадонны? Вы ж, бывала ўсюды на пару, а ўжо які раз бачу цябе аднаго.

– У мяне справы і ў яе справы...

– Справы... Ва ўсіх спраў хапае, праўда, Нінка? – Нінка кіўнула галавой, і Зоя чмокнула яе зноў. – А пра цябе, Чурумаў, я чула па радыё. Як гэта там гаварылася? Рацыяналізатар, наватар, канструіруе... Прэміі палучаеш, граматы. Нам бы такога татку, праўда, Нінка?

– А ваш што – хіба горшы за каго?

– Так... Не горшы і не лепшы. Слясарыць у дэпо. Што з яго возьмеш? Вось ты, Чурумаў, велічыня, аўтарытэт! Слухала па радыё, ганарылася: мой аднакласнік былы...

– Перастань, Зоя, а то мяне сорам бярэ.

– А ты слухай, прывыкай. Радыё ў мяне ў канторы над галавою, спадзяюся, што яшчэ пачую пра цябе не такое...

Ну і Зоя!.. Якая была, такая і ёсць.

Падкаціў яшчэ адзін аўтобус, амаль пусты, і яны паехалі.

Дурань! Дзе ты швэндаўся, дзе цягаўся, га? Адказвай. Ну! Чаго маўчыш? Людзі вунь і ў выхадныя грошы зарабляюць. Ён цягаецца. Чакай, вась толькі мамка прыйдзе. Будзе табе, палучыш, ой, палучыш! Дурань, толку з цябе ніякага.

Словы былі жончыны. Але праз прыадчыненыя дзверы яны выляталі з вуснаў яго дачкі, балюча білі ў нутро, рэхам адгукаліся ў пад'ездзе. І ён, Павел, ступіў колькі крокаў назад, прыхінуўся да парэнчы – белы-белы.

ЖЫВЕ ЧАЛАВЕК...

Яна паставіла ў печ цяжкі – як падняць – чыгун з бульбай. Пакуль паднімала яго ды рухала на самых вялікіх вілах, задыхалася, расчырванелася. А трэба было паставіць яшчэ адзін такі ж. Падрыхтаваны, ён стаяў на падлозе.

“Пачакай. І цябе зараз”, – у думках рахмана сказала Аксеня. Яна прыставіла да печы вілы, расслаблена спінаю прыхілілася сама.

Яе круглы твар рабіўся бялейшы. Неўзабаве на поўных шчоках, як звычайна, засталася толькі невялікая ружаватасць – прыкметы многіх, моцных здароўем жанчын.

У хаце тым часам стала зусім змрочна. Надыходзіў ранні зімовы вечар. Аксеня спахапілася: чаму гэта яна не ўключае святло? Яшчэ тады ў печы было цёмна, і яна напружвала ўвесь свой зрок, а зараз дык і не ўбачыш нічога. Цяжкавата ступаючы тоўстымі, у кароткіх бурках нагамі, яна прайшла да парога, націснула на ўключальнік. Адначасова з пстрычкай хата напоўнілася святлом і абступіла Аксеню ўсімі, што былі, рэчамі. Было іх небагата: шырокі стол у куце, вялікі старамодны радыёпрыёмнік, нязграбная самаробная шафа... Стаялі два ложка. Адзін, незасланы, быў ля самай печы, другі, з дзвюма падушкамі, – за шафай. Справа ад печы мясціўся кухонны столік, накрыты цыратай. Печ даўно не беленая, у рыжых падцёках. А ў парозе, на лаўцы і пад ёй, – грудам чыгункі, місы, каструлі, вёдры...

Аксені зрабілася неяк ниякавата. Яна яшчэ раз агледзела хату і зноў не ўбачыла, не адчула, што жывуць у ёй дбайныя гаспадары. Малы нажытак, ды і той да ладу не даведзены.

Як і сама хата. Аксеня глянула на вокны, і ёй здалося, што нават яны глядзяць, як вочы чалавека, і плачуць, нібы чалавек трапіў у бяду...

Аксені зрабілася зусім сумна, і яна ціхенька пазашморгвала фіранкі.

“Ну, а цяпер цябе”, – ужо з ранейшай ласкавасцю на твары падыйшла яна да чыгуна. Узяла на загнецце анучу, пачала мерыцца, як бы зручней яго ўзяць. Але замест таго, каб нахіліцца, Аксеня насцярожана павярнулася да дзвярэй.

За дзвярыма нешта стукнула, пачуўся няроўны тупат, глухі ўдар у сцяну. Пасля непрацяглай цішыні – буркатанне, лаянка і затым – кароткае, грубае:

– Тань!..

Аксеня не сказаць каб спалохалася. Яна ўзялася за клямку і, не пера ходзячы цераз парог, штурхнула дзверы. Яны прачыніліся. Але ніхто не ішоў і нікога не было відаць. Тады Аксеня выйшла ў сенцы. І згледзела чалавека. Ён стаяў збоку, спінаю да сцяны. Трохі круціў звешанай на грудзі галавою, гучна соп. На момант Аксеня сумелася, быццам не пазнавала чалавека, а потым прыгледзелася, пазнала. Яна адчыніла дзверы і, стоячы ў паласе святла, сказала яму ў прыцемак:

– Ступай-ка ў хату, Ігнат. Чуеш? Ідзі ў хату, Ігнатка, не мычы.

Чалавек заварушыўся, прыўзняў галаву. Аксеня ўзяла яго за рукаў, адхіліла ад сцяны.

– Варушыся ж, варушыся. Ступай ножкамі.

Ён падаў нейкія гукі, намогся і зрабіў некалькі крокаў. Аксеня цягнула яго за рукаў і падтрымлівала, каб не ўпаў. Так яны ўвайшлі ў хату. Ужо ў хаце ён віхлянуўся, прысеў на нагах, а потым лёг на чыгун з бульбай, які Аксеня не паспела паставіць у печ. Пачаў паднімацца, рукой абапёрся на край чыгуна, і той перакуліўся на бок. З яго лінулася вада. Пераганяючы адна адну, па падлозе пакаціліся мокрыя бульбіны...

– Ну ты скажы!.. – недаўменна, са слабай усмешкай усклікнула Аксеня. – Што гэтая гарэлка з чалавекам творыць...

Ігнат замармытаў, невідушчым позіркам паглядзеў на яе.

– Добра ўжо, добра, – як малому, сказала яна. – А ну спаць, хуценька!

Ігнат абапёрся на калені і рукі і, ледзь узяўшы раўнавагу, раскірачана пратопаў па хаце, крутнуўся і лёг, звійшыся, ля ложка на падлозе.

–... падушку, – слаба вымавіў ён.

– Ці не спаць ты тут сабраўся? – усміхнулася Аксеня.

– Я тут усягды... Таня...

– Тані няма. Паднімайся і кладзіся ў ложак. Не валяйся пад нагамі.

Ігнат заварушыўся і кулём узваліўся на ложак.

– Во і ляжы ціхенька, – сказала Аксеня. – Спі. Герой лыкавы...

Яна пазбірала ў чыгун бульбу, даліла яго вадой, лягчэй, чым першы, падняла і паставіла ў печ, пад самыя дровы. Затым падцерла падлогу.

А Ігнат ужо спаў. Ад кароткага ўсхрапвання дрыжаў кончык носа, злёгка надзімаліся чорныя, няголеныя шчокі. Ад усяго Ігнатавага твару на Аксеню веяла пакутлівасцю, журботай. Яна пастаяла ля ложка ў глыбокім роздуме, цяжка ўздыхнула. У позірку яе вачэй бачылася незласлівае асуджэнне Ігната...

Яшчэ трохі патаптаўшыся па хаце, яна выйшла з яе і замкнула на вялікі чорны замок. Ключ паклала ў кішэню ватоўкі. Потым шчыльна прычыніла веснічкі і пайшла, грузнаватая, па ледзь заўважнай сцежцы.

Быў ужо вечар. Вёска свяцілася агнямі. Пахла гаркавата-дурманістым, ад торфу, дымам. Аксеня ішла міма хат, і ёй добра ўяўлялася, што робяць зараз у кожнай хаце. Гэта таму, што часта бывала ў іх. Жыла Аксеня адзінютка і амаль заўсёды, калі сядзець адной у хаце

станавілася маркотна, ішла да каго-небудзь з суседзяў пабавіць час. І людзі былі ёй рады. Не за бойкі язык ці яшчэ што, а за тое, што ў многіх хатах была яе праца, яе дапамога. Вясной, калі надыходзіла пара сеяць, прасілі Аксеню дапамагчы гной вывезці і растрэсці, бульбу парэзаць і пасадзіць. У ранейшыя, яшчэ нядаўнія гады таму-сяму дапамагала і на сенакосе. А цяпер – не. Як і яна сама, амаль усе ў вёсцы збылі сваіх кароў: вельмі цяжка стала з кормам...

Затое ўсё больш прыходзілася дапамагаць на бульбе. Бульбы, як і раней, усе саджалі многа. Ды пасадзіць яе лягчэй, а вось выкапаць... Тут Аксеня была ўжо нарасхват. У некаторыя дні па дватры чалавекі прыходзілі прасіць за якую хочаш плату. Але навошта Аксені плата? Усё ў яе ёсць, бо, збыўшы карову, ні на адзін год не заставалася без свінчука, гусей, курэй... А ішла яна, “маладая пенсіянерка”, як той-сёй зваў яе ў вёсцы, да таго, каму дапамога была патрэбней. Вось, напрыклад, да Таццяны. Сама здароўем слабаватая, усё ў яе нешта баліць, а ад Ігната, мужыка яе, карысці, як ад казла малака.

Таццяне, калі падумаць, Аксеня пасабляла больш, чым каму. І таму хілілася тая да Аксені, як слабое дрэўца да моцнага. Прыйдзе калі, сядзе і сядзіць, утаропіўшыся ў падлогу.

– Ну як жа вы там жывяце? – спытае Аксеня.

Ускіне Таццяна запалыя вочы і скажа, як працэдзіць:

– З раніцы да вечара... Так і жывём...

І нечакана ўсхліпне. А пасля, паміргаўшы вачыма, загаловаць, стрымліваючы слёзы:

– Усё сама, Аксенечка. Усё сама, сваімі ручкамі. Дзе не падніму што – ляжаць і будзе. Будзе ляжаць год, два, а ён, валацуга, не возьмецца. І не падумае.

Памаўчыць Таццяна, паплюскае вачыма, а тады як пачне божкаць:

– Божачкі, калі ж ужо ён абап’ецца? Божачкі, калі яго разадзьме?

– Нельга так, Таццяна!.. Што гэта ты гаворыш? – ажно спалохаецца Аксеня.

– А яму можна? Яму можна гэтак мучыць мяне? Не, даб’юся свайго, праклянута валацуга. Ты ж памяркуй, Аксенечка: даўным-даўно прывёз с пільні абапалкаў, і што ж? Ляжаць! А ў добрага гаспадара не ляжалі б. Лёг бы ён сам, як тая дошка...

– Нельга гэтак, Таццяна, – зноў скажа Аксеня. – Які не чалавек ён – а чалавек. І дзеці ў вас.

– Дзеці... – хмыкне Таццяна. – Дачка адна. У яе ўжо дзеці свае.

Сцежка скончылася. Пачалася цвёрдая, уезджаная машынамі дарога. Аксеня павярнула па ёй улева, на пагорак, дзе воддаль стаяла яе хата.

У хаце Аксеню агарнула цёплае, радаснае пачуццё, якое, звычайна, находзіць на тых, хто нейкі час быў у гасцях ці так дзе, сярод усяго непрывычнага, чужога, і нарэшце вярнуўся ў сваё жытло. Якое яно тады роднае! І як лёгка тады на душы!..

Яна распранулася. Класціся спаць было рана, і наважылася чым-небудзь заняцца. Але чым? Пільнай справы не было. Усё ў яе невялікай хаце як след. Усё дагледжана. Але рупны чалавек заняткаў заўсёды сабе знойдзе.

Неўзабаве Аксеня сядзела на зэдліку і шыла. За такім ціхім заняткам добра думаецца, і яна, знешне засяроджаная над тым, што робіць, ужо ў які раз за апошнія дні падумала аб тым, як яна апынулася ў Ігнатавай хаце.

То было ў сераду. Аксеня толькі што прыйшла ад Сахвеі, якую за надта лёгкі язык усе звалі Балаболкай, павячэрала і ўжо збіралася класціся спаць, як у дзвярах з’явілася Таццяна. Была яна нейкай рухавейшай, чым звычайна, глядзела прасветлена і разам з тым заклапочана. Аксеня гэта змеціла адразу. І адразу ўчула, што ў Таццяны да яе будзе нейкая важная просьба. Так яно і было.

– Аксенечка, гэта ж во чаго я прыйшла, – гледзячы зырка, вока ў вока, загаварыла Таццяна. – Зойка тэлеграму прыслала: прыязджай, мамачка, няма каму глядзець Марынку, у мяне іспыты. Дык во што рабіць? Паедзь – а хто тут будзе прыглядаць, гаспадарка ж? На яго ж нельга кідаць, – Таццяна мела на ўвазе Ігната. – Здохнуць і карова і свінні. Думала-думала: божачка, каго б гэта мне папрасіць, і ўжо рашылася папрасіць цябе. Выручала ты мяне, Аксенечка, выруч яшчэ. Век буду дзякаваць, яй-бо.

Аксеня сумелася. Весці чужую гаспадарку, няхай сабе і некалькі дзён, – гэта ўсё ж не абыякі клопат...

– Няўжо яна там няньку не можа знайсці? – разважліва спытала яна.

– Што ты, Аксенечка!.. Каго ты там знойдзеш? Там жа вялікі горад, многа маладых дык за нянькамі вунь як ганяюцца. Ні за якія грошы не знойдзеш. Ды яшчэ такога малога глядзець.

– А колькі яму?

– Два месяцы, Аксенечка. Усяго два, – борздка сыпала Таццяна. –

Божухна, гэта ж так незадачна ў яе палучылася... І сама вучыцца, і ён, мужык яе. А тут дзіця...

Доўга сядзела ў той вечар Таццяна то весялеючы, то робячыся бездапаможна-гаротнай. Усё важнае яна ўжо выказала, разоў колькі сказала, што як ацеліцца карова, будзе насіць Аксені малако, а Ігнат прывязе дроў. І Аксеня пасля разважлівага маўчання, нарэшце, абрадавала яе:

– Ну што... Трэба ўжо выручыць...

– Во дзякуй. Во дзякуй табе, Аксенечка, – як не ўзляцела з табурэткі

Таццяна. – А божачка — каб не ты, дык хоць у пятлю лезь. Я ж ужо трох чалавек апытала, – прызналася яна, – і ніхто ні блізка. Не хочуць памагчы чужому гору. Ды ёсць жа во добрыя людзечкі на свеце, яй-бо...

Чатыры дні як паехала Таццяна да Зойкі. Чатыры дні Аксеня ходзіць у яе хату гаспадарыць. Найбольшым клопатам была жывёла. У Таццянінай пуні была карова – гэтка ж панылая з выгляду, як гаспадыня, і два ладных падсвінкі. Былі яшчэ куры. Пакарміць жывёлу, птушку яно не так і цяжка. Цяжэй за ўсё было выпаліць у печы, каб нагрэць вады, запарыць бульбу. Дровы былі сырыя. Аксеня клала іх нанач у печ, каб падсохлі, але ўсё роўна загараліся яны не скоро. Дзіва дзіўнае, не раз думала яна, ёсць пры хаце гаспадар, у лесе працуе, а дроў няма! Вось і зараз яна с трывогай падумала, як заўтра будзе распальваць у печы. Правалтузіцца вунь колькі... А ў сваёй выпаліць хутка, бо дроўцы ў яе – аблёт.

Яна клалася спаць і поўнілася заўтрашнім клопатам.

Абудзілася вельмі рана.

Па сваёй гаспадарцы ўправілася гадзіны за паўтары і неўзабаве падыходзіла да Таццянінай хаты. Нейкае новае, супярэчлівае пачуццё агарнула Аксеню: там, у хаце Ігнат...

Замок вісеў. Яна адамкнула яго. Адразу, як пераступіла парог, уключыла святло.

Ігнат спаў. Ціха, без падхрорвання, але яшчэ моцна, і сваім застылым, жаўтлява-чорным тварам нагадваў цяжка хворага чалавека.

Аксеня распранулася, яшчэ раз зірнула на Ігната, пачала распальваць у печы. Пачарнелыя ад часу трэскі, знойдзеныя ёю ўчора у вугле пуні, згарэлі, але дровы ад іх толькі зацямелі. Яны сіпелі, пускалі шызы дым.

Неўзабаве Аксеня таропка ішла да свае хаты. Вярталася назад і несла перад сабой горку сухіх паленцаў...

Цяпер дровы разгарэліся.

Ціха, стараючыся не пабудзіць Ігната, упраўлялася Аксеня. І раптам сумелася ад думкі: Ігнат жа ўвесь час спаць не будзе. Ён прачнецца. А што будзе есці?

Пра Ігната ў яе з Таццянай не было ніякай гаворкі. Быццам яго не было на свеце. А ён жа прыйшоў. У хаце...

Яна ўсклапацілася. Але нічога прыдумаць не магла. Зварыць бульбы? Дык дзе шукаць якой затаўкі? Таццяна пра гэта не сказала ні слова.

Яна выйшла ў сенцы. З аднаго боку тут была кладоўка. У ёй было, мусіць, сала. Глянула – дзверы кладоўкі на замку. Маленькі такі замочак, але не будзеш жа яго адбіваць...

“Еш, Ігнат, што хочаш, – зноў тупаючы па хаце, засмучона думала Аксеня. – Як гэтак можна – не падумаць пра мужчыну? Не, Таццяна, тут ты вінавата. Ну, няхай ён дрэнны, такі-сякі. Але ж гэта мужчына. Можа б ён і лепшы быў. Хіба ж можна, каб мужчына галадаў?”

Твар Аксені спахмурнеў. Яна ўзяла з груды посуду чыгунок, памыла, потым начысціла ў яго бульбы, наліла вады і паставіла ў печ. А потым схадзіла дамоў. Прынесла ў гаспадарчай сумцы нейкія скруткі, бітончык.

Калі ўсё парабіла, стала ўжо зусім відна. Напаследак заставалася зачыніць у печы юшку. Яна ступіла на хісткі табурэт, адчыніла дзверцы і, намацаўшы збоку юшку, прыладзіла яе над кругавінай. Табурэт нечакана павяло ўбок, і Аксеня, зачыняючы дзверцы і губляючы раўнавагу, моцна імі стукнула.

– Га? Поскудзь, тваю маць...

Аксеня ад нечаканасці ажно прыгнулася. На твары ў момант выступіла чырвань. Яна глянула на ложка і ўбачыла, што Ігнат, ускудлачаны, пахмурна-сонны, глядзіць у столь.

– Ты што, можа задушылася там?

Аксені стала смешна. Яна зразумела, што ад гарэлкі Ігнат забыўся, а можа і зусім не ведаў, што Таццяны няма, што яна паехала.

– Не, жывая я, жывая. А ты тут за ноч не памёр?

– А-а-а, – працягнуў ён, убачыўшы Аксеню. І сказаў сабе: – Аксеня.

У першы момант ён не здзівіўся. Здзівіўся пасля, убачыўшы, што яна ў кофце, без ватоўкі. Ён сеў на край ложка, угнуў калмату галаву ў ватоўку.

– Значыцца, мая Панедзя /гэтак ён дражніў Таццяну/ паехала, – глндзячы перад сабой у падлогу, сказаў Ігнат. – Да дачушкі... А я ляжу і думаю: чаго гэта ціха ў хаце? Не стогне ніхто і не прычытвае. І нешта на ложку ноч праспаў, не на падлозе...

Аксеня з вялікай цікаўнасцю разглядала Ігната і нічога не гаварыла.

– Тады яно ясна, – нетаропка працягваў ён. – Калі Панедзя паехала, то будзе ціха. Нават палаяць не будзе каго.

– Чаму? Я за яе. Палай мяне.

– Цябе? – ён пабоўтаў нагамі. – Цябе не буду. Цябе і Сямён, царства яму нябеснае, не лаяў. Праўда?

– Праўда, – уздыхнула Аксеня.

– Бачыш... Не было за што. А каб пажыў з маёю – і лаяўся б, і піў, і...

– ... і дамоў прыходзіў бы раз у тыдзень.

– А то і ў месяц раз. О-о-о, яна б давяла!.. Сваімі стогнамі... Каб ёй звароту не было.

– Ігнат!... – пагрозліва выдыхнула Аксеня.

Ён змоўк, адно толькі гучна соп. Потым стаў на ногі, ступіў крокі два па хаце і зноў сеў.

– Што – дрэнненька?

– А ты думаеш, лёгка? Лёгка яе піць? Паспрабуй-ка – кожны дзень, да ачмурэння...

– А ты не пі.

– Эх, Аксеня, Аксеня... – звычайна Ігнат быў такі малчун, а тут гаварыў і гаварыў. – Я як быў халасцяком, кроплі ў рот не браў. Ты ж, можа, помніш. А як сыйшоўся з гэтай ніцай Панедзяй, так і пайшло наперакос. Усё стогне і стогне, ные і ные, усё “я, я, я...” А скажы: што яна ўмее? Ну

што? Нічога. Толькі глядзіць, каб дачушцы пасылкі шпурляць. А ты зірні во на хату. Ці скажа хто, што ў ёй добрая жыве гаспадыня? – Ігнат глядзеў пранікліва. Адчувалася, што ён гаворыць з усёй шчырасцю. – Я ў першыя гады стараўся-стараўся, а тады бачу, што ўсё ідзе без ніякага толку, і...

Ён змоўк, даверліва глянуўшы на Аксеню, ціха дадаў:

– І ты думаеш, з Зойкі будзе толк? Такі, як з Панедзі. Яна ж яе змалку спеставала. Матка нічогенька не ўмее, а дачка і яе акаснула...

Аксеня слухала і нечакана для сябе мусіла падумаць: а што, з якога боку ні глянь – Тацяна нідзе не перахапіла, ні ў калгасе, ні дома. А ў слых сказала:

– Тацяна ж, не забывай, хворая.

– Хто? Яна? Не смяшы ты, Аксеня. Яна такая хворая, як ты ці я. Гэта ж у яе натура такая – плакаць і ныць. А на другіх выязджае...

Ігнат іранічна ўсміхнуўся і пачаў разувацца. Зняў боты, і ў хаце востра запахла потам уперамешку з гніллю. Аксеня ажно жажнулася. Глянула на анучы ў чорных лапінах броду. Потым ён распрануў фуфайку, і яна ўбачыла, што ў ягонай сарочцы няма ніводнага гузіка, а каўнер сподняй, як наваксаваны...

“Эге-е-е!.. Жыве чалавек... – думала ўражаная Аксеня. – Ігнат, Ігнат...”

А ён пачаў нешта шукаць. Зіркнуў на печ, заглянуў пад ложак. Змеціўшы нешта на падлозе каля сцяны, падняў, разгарнуў. То была Таццяніна кофта. Ён прымерыўся і хацеў ірвануць яе пасярэдзіне, але Аксеня не дала.

– Не руш. Таццяна яшчэ насіць будзе.

Ігнат разгублена зірнуў на яе. І ён, і яна бачылі, што ў хаце няма нічога, з чаго можна было б зрабіць анучы. І калі ён намерыўся заматаць на ногі тыя самыя, брудныя і мокрыя, Аксеня хутка зняла буркі і дала яму свае бялюткія мультковыя анучкі.

Ігнатаў твар знікавеў. Збянтэжаным голасам спытаў:

– А табе як?

– Мне цёпла і так. Да хаты дайду, а там у мяне і суконкі, і мульт.

Бяры, намотвай.

Ён вагаўся. Не проста было для яго ўзяць чужыя анучы. Гэта каб так што-небудзь, а то выходзіла, такой драбязы не мае ў сваёй хаце!..

– Бяры-бяры. А то ногі, глядзі, застынуць.

Ён нібы чакаў гэтых Аксеніных слоў, з яшчэ маладаватым спрытам пачаў абувацца. Пасля – мыўся. Таксама хутка, бадзёра. Але па выразу твару было відаць, што Ігнат узрушаны, што аб нечым думаў і думаў.

– Ты і ваду носіш? – спытаў ён, выціраючы рукі.

– Не, не я, – усміхнулася Аксеня.

Ён таксама ўсміхнуўся, але ўсмешка была не вясёлай, а сарамяжліва-горкай. Пакуль ён потым расчэсваў даўно не мытую галаву, Аксеня паставіла на стол міску булёну, выняла са сваёй сумкі ўсё, што там было, паклала на сталю.

Ігнат моўчкі назіраў за ёю і быў сур’ёзны. Праз якую мінуту ён ужо сядзеў за сталом і гучна сёрбаў булён. Лыжка так і мільгала.

– Дай падалью, – сказала Аксеня, калі ён ужо дабраўся да дна.

Ён кінуў на яе кароткі прыязны позірк, падаў міску.

Пасля Ігнат еў каўбасу ў прыкуску з кіслымі агуркамі і хлебам, піў кісель, заядаючы хрумсткім пакручастым печывам. Аксеня тым часам прыбрала ложак, на якім ён спаў, падмяла ў хаце.

– Ну, Аксеня, дзякуй. Наеўся, як конь, – сказаў ён і спаважна вылез з-за стала.

– Наеўся – на здароўечка, – хуценька і зычліва адказала яна. І спытала:

– А цяпер куды? На работу?

Ён не спяшаўся адказваць. Ubачыў на загнеце два бярозавыя паленцы, падыйшоў, патрымаў іх па чарзе ў руцэ, нібы ўзважваў. І толькі тады сказаў:

– У мяне чатыры дні адгулу. Можна не ісці. – Ён памаўчаў, аб нечым думваючы, потым дадаў: – Але я схаджу на работу. Трэба ўзяць адну рэч.

– Ну, калі трэба, то і схадзі.

Апоўдні, калі ўгрэла сонца і палягчэў мароз, Аксеня зноў кіравала да Ігнатавай хаты, каб накарміць жывёлу. І яшчэ ля Сахвеінага падворку ёй выразна пачуўся то высока-натужны, то ападаюча-нізкі рокат. Яна прыслухалася. Рокат даносіўся як быццам бы з Ігнатавага двара.

“Што ж гэта гудзіць? Знаць, бензапіла, – падумала яна. – Во калі хочаш...”

І праўда. Гэта была бензапіла. Ігнат пілаваў абапалкі, за якія столькі разоў яго кляла Таццяна. Добра налаўчыўся Ігнат, працуючы ў калгасе. Ад вялікага груды гарбылёў амаль нічога, калі прыйшла Аксеня, не заставалася.

Яна спынілася ля вугла, з цікавасцю глядзела, як ён пілуе – адразу па два гарбылі, каб было спарней. Іх ён складваў адно да аднаго шырэйшымі бакамі. Каб не раз’язджаліся.

Ён убачыў яе, але не спыніў сваёй работы, пакуль не папілаваў апошнія два гарбылі. Тады толькі выключыў бензапілу, прыставіў яе да сцяны хлява. Падыйшоў да Аксені, сказаў:

– Цяпер табе ўжо не трэба будзе насіць сваіх дроў. Бачыш? – ён паказаў на кучу абапалкаў.

– Бачу-бачу. А я стаяла і падумала: сёння можна б і лазню пратапіць.

– Навошта?

– Памыеешся, чысты будзеш.

– Яно б добра было б – памыцца, – павольна сказаў Ігнат. – Ды я... разумееш... мне...

Ён чамусці засаромеўся, адвёў убок позірк. Ад гэтага не па сабе стала і Аксені: хто яго ведае, аб чым чалавек падумаў? Ён учуў яе ніякаватасць і паспяшаўся растлумачыць:

– Бялізны ў мяне няма. Апроч той, што на мне.

“Вунь яно што!.. Ай, ай... Не купіць мужчыне ў запас пару-дзе бялізны!... – ліхаманкава падумала Аксеня. – Ну й Таццяна. Да чаго давяла чалавека. Да чаго давяла!” А ў голас сказала: – Гэта не важна, Ігнат. Я буду даваць карове сена, а ты ідзі ў хату, здзень бялізну. Памыю. У печы якраз ёсць чыгун цёплай вады. А тады павешаеш яе ў лазні на шост. Пакуль папарышся ды памыеешся, яна і высахне ў духу. Ці зразумеў? А да лазні пабудзеш у верхняй адзежы.

Ён уважліва выслухаў, быў запярэчыў, але яна настаяла на сваім, і Ігнат пакіраваў у хату. Аксеня пайшла ў пуню, перакінула праз агарожу карове сена. Зарохкалі, паціху пачалі вішчэць свінні.

– І вам ужо захацелася естачкі? Дам і вам, дам, – гаварыла яна. – І вам, куранькі, дам. Усіх накармлю. Ніхто не будзе галодны.

Выйшла з пуні, супынілася: трэба пачакаць, калі выйдзе Ігнат. На снезе ляжала сякера. Яна ўзяла яе, паспрабавала пальцам лязо. Падзівілася: у яе, удавы, сякера куды вастрэйшая. Выйшаў Ігнат. Ubачыў яе з сякерай у руках, вярнуўся назад у хату, прынёс брусок.

– Зараз я яе... Во на рабоце ў мяне сякера!.. Як агонь.

Пасля ён калоў абапалкі, яна карміла свіней і курэй, мыла яму бялізну. А Ігнат пачаў насіць у лазню ваду.

Сахвея, як убачыла яго з вёдрамі ў руках, ледзь не закрычала:

– Глядзіце-ка, людзі, – Ігнат па ваду ідзе! Колькі жыву – не бачыла яго

ля калодзежа. Ну, гамон усім ваўкам у лесе. Падохнуць.
І засмяялася, гэтак жа знарочыста.

Таццяна прыехала, калі пачало брацца на вясну.

Снег днём ужо раставаў, і пакуль яна прыйшла са станцыі, добра ўпарылася. На дзвярах быў замок. Яна паставіла чамадан, перахрысцілася і, узіраючыся на ўсё нейкім птушыным позіркам, пайшла па ключ, які мусіў быць у старой хованцы ў шуле.

Як толькі павярнула за вугал сенцаў, спынілася, нібы хто яе асляпіў. У вочы ёй кінуўся бела-жоўты бляск высокіх сціртаў дроў, акуратна складзеных уздоўж пуні і хатняй сцяны. У першы момант Таццяна нібы прасвятлела, узрадавалася, але затым у яе цьмяных вачах забегалі агеньчыкі трывогі, і яна як бы здранцвела.

Ціха, нібы па чужым двары, прайшла яна да хлява, адчыніла вароты. Прагна ўцягвала пах гною і сена, нічога не бачачы пасля дзённага святла ў прыцемненнай пуні. Пачула, як жавала жвачку карова. Сытна рохкнулі свінні. Калі вочы прывыклі, і ўсё пачало бачыцца выразна, яна забегала позіркам то на карову, то на свіней. Яны, гэтак яна змеціла адразу, былі спраўныя, дагледжаныя.

– Ласют-Ласют, – працягнула яна руку да каровы. Карова трохі павяла ў яе бок галавой, безуважна паглядзела. Таццяна адчула сябе як бы зняважанай.

– А вы чаго седзіце? Акы-ыш на вуліцу! – узмахнула яна рукамі на курэй. Тыя залапаталі крыллямі, паднялі вэрхал і кумельгам кінуліся на двор.

Тады выйшла і Таццяна. Узяла ключ. Ідучы па двары, усё глядзела і глядзела на дровы. Увайшоўшы ў хату, стала ў парозе і, не выпускаючы з рукі чамадана, мітусліва кідала па ёй позіркі. У хаце было чыста. На вокнах віселі чысценькія, нібы толькі што памытыя, фіранкі. У вугле стройным радочкам стаялі чыгункі, гарлачыкі, місы. І ўсе вымытыя.

Пахла варанай капустай. Таццяна нюхала гэты пах з недаўменнем: адкуль было ўзяцца капуста? Яна ж сваю не пашынкавала. То не хацелася, то нездаровілася. А Ігнат, чорт гэтакі, і пальцам не варухнуў. Ляжалі качаны, ляжалі, а тады ўлезлі ў сенцы свінні, лычамі ды нагамі перамясілі. І прапалі такія качанчыкі! Карове аддаць прыйшлося...

Таццяна паставіла чамадан на табурэт, адчыніла заслонку, павыцягвала на загнет меншыя чыгункі. У кожны зазірнула. У адным была капуста, у другім – тушаная бульба. У зялёнай каструльцы – дранікі.

Таццяна заклала заслонку, унурана, сашчапіўшы рукі на жываце, пастаяла пасярод хаты, потым матлянулася за парог і, не наклаўшы на дзверы замок, зацялёткала па вуліцы. Насупраць Сахвеінай хаты агледзелася і шуснула ў дзверы.

Сахвея, маці семярых дзяцей, заўсёды была дома.

– Глядзіце-ка, хто да нас прыйшоў, – прапела яна, як толькі ўвайшла Таццяна. – Даўно, даўно не была. Ну дык праходзь жа. Расказвай, як табе ездзілася, як там гасцявалася.

– Ды нічога, – Таццяна села на табурэтку. – Во забылася дзецям канхветак узяць...

– Не трэба ім твае канфеты. Сваіх хапае, толькі б елі, – сказала Сахвея. А па выразу твару было відаць, што думала яна пра нешта другое. Пра гэтакое “другое” і загаварыла: – А ты, мая галубка, магла б і не прыязджаць. Тут такое цяперака!.. Ігната свайго не пазнаеш. Гладкі стаў, ажно памаладзеў гадоў на дзесяць.

– Хто ж яго выгладзіў? – нервова ўстрапянула Таццяна.

– Пытаецца – хто. Аксеня! Яна яго ш-шоўкавым зрабіла. І дровы

возіць-коліць, і ваду нясе, на работу і з работы – чын чынам. І не п'е, як раней. Ну, трохі калі вып'е... А ні разу не валяўся, як бывала. І ёй жо ўжо дроў прывёз. Цэленькі трактар згрузіў. — Сахвея недаверліва паглядзела на дзяцей, на вокны і прашаптала: – Я дык думаю: ці не прылабуніла яна яго?

Таццяна заплюскала вачыма, пабялела. Аблізаўшы сухія губы, дрыготкім голасам сказала:

– Не, гэта ўжо, Сахвейка, наўрад.

– Дурная ты, – выцягнула шыю Сахвея. – Усё можа быць. Калі гэта Сямён яе памёр!..

– Не, Сахвейка, гэта наўрад, – паўтарыла зажураная Таццяна. – Старая яна для яго, ды і не з такіх, каб...

Доўга яна сядзела ў Сахвеі. У хату вярнулася пад вечар. Пераапрунулася, прылегла на ложак адпачыць. Ляжала, падпёршы шчаку рукой, журботна глядзела ў падлогу. Але бачыла не падлогу, а Аксеню. І на душы ў Таццяны было горка і пякуча. “Не, Сахвея, як ні памяркуй, а Аксеня малайчына, – ляжала і думала яна. – Два месяцы была ў Зоі, а яна тут вунь як усё перавярнула. Можа і спецыяльна, каб даказаць. Толькі не. Аксеня гэтакая здавён. А я ж яе падманула! Ездзіла не Марынку няньчыць, а яе, Зойку, ратаваць. Каб муж не кінуў. Але не вярнуўся ён, нічога не выйшла. Дапакла яна яму. Во Зойка дык Зойка!.. Аددзячыла маці. Гэтак петавалася на яе! Адкуль што якое – ёй. На, дачушка, спажывай, не клапаціся. А сама – як папала. І Ігнат так жа... Што гаварыць, у злосць увяла яго праз дачушку. Толькі з-за яе. Во прыехала, дык ён, калі хочаш, зноў зап'янствуе... А як дазнаецца, што там з Зойкай – дасць дык дасць. Дурная, навошта было гаварыць пра гэта Сахвеі. Тая збалбоча. А Аксеня даведаецца – ад сораму згарыш...”

Стукнулі веснічкі. Таццяна падхапілася. У хату ўвайшла Аксеня.

– Ну – гаспадыня прыехала, – сказала яна. – Добры вечар табе, Таццяна.

– Добранькі вечар, – ціхенька вымавіла яна, глянула на Аксеню, адварнулася і зашморгала носам.

– Ці не плачаш ты?

– Не, – адказала Таццяна, хуценька выцершы вочы. – А божухна, чаго ж мне плакаць? Ты во, вялікі табе дзякуй, усё мне тут парабіла.

– А можа там што з Зояй? Не? Ну і добра. А тут не сёння-заўтра карова павінна ацяліцца. Дык ты ўжо глядзі, Таццяна, каб цяля паспела. А я тады заўтра пайду ў калгас. Фядульчына Гапка дужа захварэла. Няма каму свіней даглядаць.

–Дзякуй табе, Аксенечка, за ўсё. Каб не ты... – Таццяна заміргала вачыма, замыляла губамі і раптам, закрыўшы твар рукамі, затрэслася ў плачы.

ЗАЛАЦІСТАЯ ЛОДКА

Здрыгануўся – у машыне пахаладала. Уключыў запальванне, пачаў круціць радыёпрыёмнік.

Праз трэск і піск перадвечаровага эфіру чуліся галасы дыктараў, суладнае гранне аркестраў. Трохі ўслухоўваўся, пачынаў круціць прыёмнік зноў. І вось перасіліў чысты голас артысткі:

Мы на лодочке катались

Золотистой – золотой...

Слухаў, адкінуўшы галаву на падушачку, што двума стрыжнямі мацавалася да спінкі сядзення, але ўспомніўшы, што апошнім часам гэтую песню ўпадабала Рыма, выключыў прыёмнік.

Але песня яшчэ гучала ў вушах, і там, на небакраі, што падсвечваўся ўжо нізім чырвоным сонцам, ён нібыта бачыў у аблачынках залацістую лодку над цёмнай палоскай лесу. Неяк такую вось вечаровай парою яны з Рымаю бачылі захад сонца, Рыма была на лёгкім падпітку, спавяла гэтую песеньку пра лодку, а потым абняла яго, Сяргея, і, дыхнуўшы брыдкім для яго пахам гарэлкі, сказала, што залацістая лодка – гэта іхняя машына, іхняе вельмі добрае цяперашняе жыццё...

З таго надвячорка песенька пра лодку яму падабалася чамусьці усё менш.

Ля самай машыны праходзілі людзі – хто ішоў дамоў, хто ў магазіны, што мясціліся ў жылых дамах на першых паверхах. Машына стаяла насупраць “Оптыкі”. “Оптыка” была ўжо на замку, і пустыя вітрыны ажыўляў толькі партрэт-рэклама: мужчына ў гадах, з акуратна прычасанымі сівымі валасамі, лядзеў на ўсё праз модныя, з чорнымі дужкамі, акуляры і ўсміхаўся.

Чаканне надакучыла. Ужо амаль гадзіна прайшла, а Рымы ўсё не было. Колькі ж можна там сядзець? І што можна столькі рабіць? Ну і Рыма, ну і нахабніца! Сяргей даўно збіраўся правучыць яе за такія фокусы, ды так і не сабраўся: то падлашчыцца як-небудзь, выкруціцца, то сам даруе.

Акулярнік пазірае з вітрыны і пазірае. Не, не магчыма больш трываць яго ўсмешку, і Сяргей ад’ехаў ад “Оптыкі” далей, да самага вугла дома. Зноў уключыў прыёмнік, лавіў хвалі, слухаў розную эфірную безладзь і ўсё часцей пазіраў на гадзіннік. Дзе ж Рыма? Чаму яе так доўга няма?

Тое, чаго пабойваўся, здарылася: сэрца. Прыклаў руку – так і ёсць, б’ецца яно часта-часта – арытмія. Па целе пайшла слабасць, вяласць, захацелася апусціць рукі, пакласці на што-небудзь галаву, ні аб чым не думаць, не трывожыцца.

Рукі і галаву паклаў на руль, заплюшчыў вочы, суцішыўся. Але сэрца ўсё татахкала. Вось неяк варухнулася колькі разоў так, што спалохаўся, палез у кішэню па таблетку. Ніяк не мог праглынуць. Тады Сяргей адкаркаваў дрыжачымі рукамі бутэльку мінеральнай, што апошнім часам купляў і вазіў з сабою кожны дзень, зрабіў некалькі глыткоў.

З-за вугла з’явілася Рыма. Ружовыя шчокі, яркая сукенка, на плячах – наапашкі свэтрык... Ідзе – чык-чык-чык, як бы сама сабою любуецца.

– Дзе была? Колькі можна цябе чакаць? Я ўжо тут поўную гадзіну стаю, здурнеў ад тваіх выхадак. Хто я табе – раб, служка? Больш такога не будзе. Досыць з мяне. Чуеш? На аўтобусе ездзі да сваіх сябровак, пешшу хадзі, а я табе не сабака, каб на ланцугу сядзець ды чакаць тваю вялікасць. Ты мне не смейся, не смейся, глядзі, каб плакаць не прыйшлося...

– Ну, не трэба, Сярожка, не трэба. Не псіхуй. Ну, так атрымалася. Як? Ты ж ведаеш як – слова за слова – і пайшло. А тады...

– Пачалі выпіваць?

– Ну. Клаўка бутэльку паставіла, выпілі. Не злуйся, ты ж у мяне харошы, самы лепшы, ты ж – золатка маё. – Яна прасунула ў машыну галаву, пацалавала яго, і ад яе пацягнула гарэлкай.

– Ох, Рыма!.. Што ты за чалавек? Не магу зразумець, не магу.

– А ты зноў за сваё... Не трэба, я ж прыйшла.

– Сядай, паедзем, даволі людзям вочы мазоліць.

– Не, Сярожка, з’ездзі ты адзін, накармі свіней і вярніся сюды. Тут не чакай, прыходзь да нас. Другі пад’езд, трэці паверх, кватэра сорок.

– Што?!

– Ну, чаго ты? Не крычы. Табе ж нядоўга, ты ж на машыне. Замяшаеш цеста, вынесеш і назад. Клава не адпускае мяне, просіць пабыць яшчэ, мы ж даўно не бачыліся.

– Яны даўно не бачыліся!.. А мне начхаць на гэта. Яны, дзве гэтакія прынцэсы, даўно не бачыліся... Смех!

– Ну, Сярожка, любы мой...

– Добра, я паеду дамоў, накармлю свіней. Але сюды, па цябе, не паеду, дабірайся, як хочаш. З мяне даволі. Наездзіўся. Не спраўляюся загады твае выконваць, ім канца-краю не відаць, ты з мяне свінарку зрабіла.

Яна зноў прасунула галаву, пацалавала мацней, потым пацалавала яшчэ і яшчэ...

І ён паехаў. А яна пайшла назад, за вугал дома.

Дзе ж кватэра №40? Ага, вунь, злева. Падышоў да дзвярэй, прыслухаўся. Аднекуль, з глыбіні пакоюў даносілася музыка – танга. Слухаюць ці танцуюць? Цікава паглядзець.

Націснуў на кнопку званка. Моцна і доўга звінеў званок, пакуль нехта не падышоў і, клацнуўшы, не павярнуў замок.

– Хто тут такі нецярплівы? – на Сяргея глядзела Клава – па- святочнаму апранутая, расчырванелася, вясёлая. – А, гэта Сяргей да нас завітаў! З чым да нас? Без нічога гасцей не прымаем, пропуск – каньчок. Шуруй у гастронам, хутчэй.

– Ты, Клава, не задурвай мне галаву. Мне не патрэбны ні каньяк, ні гарэлка, ні віно, а вы, бачу, ужо насцябаліся.

– Хм, падумаеш – насцябаліся, па тры чарачкі цягнулі... – Клава прапусціла Сяргея, пайшла за ім, дзвярэй чамусьці не замкнула.

Музыкі ўжо не было. Рыма, нейкая тоўстая бландзінка і двое маладых мужчын з хуткімі, смела-палахлівымі позіркамі сядзелі паўкругам у зале за сталом. На стале талеркі, сподкі з закускаю, бляшанкі пачатых кансерваў, бутэльнікі...

– Сядай, Сяргей, павесяліся з намі, – дакранулася да яго плячэй разгарачаная Клава.

– А з якое прычыны ў вас гулянка?

– О, прычына добрая, не думай. Сустрэча сяброў і блізкіх. –

Клава падышла да аднаго з мужчын, абняла яго, чарнявага, за шыю. – Вось брацік да мяне прыехаў, не бачыліся два гадочкі...

Мужчына адхінуўся ад Клавы, паспешліва падняўся, працягнуў Сяргею руку:

– Андрэй. А як вас завуць я ўжо чуў.

Сяргей паціснуў руку чарнявага, падумаў, што зараз працягне сваю руку другі, са светлым тварам і, мусіць, маладзейшы, але той застаўся сядзець. Побач з Рымаю і быў, як разгледзеў Сяргей, даволі п'яны.

– Дзе ты сядзеш, Сяргей? Давай вось тут, каля жончкі сваёй, частуйся ў нас, табе ж папраўляцца трэба. Схуднеў ты нешта, костачкі адны.

– Хто яго ведае, чаго яму не хапае, – прамовіла Рыма. – Гатую кожны дзень, толькі няхай есць...

– Падумаеш – нашлі аб чым балакаць. Не есці трэба, а піць, – заварушыўся сп'янелы. – Вось ён вып'е грамаў трыста і будзе сыты.

Сп'янелы наліў чарку, падсунуў, трохі разліўшы, Сяргею.

– Дзякую, шаноўны, не п'ю, – Сяргей адсунуў чарку.

Сп'янелы лыпнуў вачыма, як бы здзівіўся:

– Ты давай без выкрутасаў. Калі прыйшоў сюды, дык пі, тут усе п'юць. І не ламайся, я гэтага не люблю.

– Не п'ю, – больш цвёрда сказаў Сяргей.

– Ты што? Самы разумны? Дык я магу...

– Раман, супакойся, не крычы. Гэта праўда – Сяргей не п'е. Раней піў, а цяпер у рот не бярэ, разумееш? Давай яго чарку мне. – Клава працягнула руку праз увесь стол і ўзяла чарку.

– Ш-ш-што? Захварэў?

– Наадварот, – сказаў Сяргей з усмешкаю.

– Ён выпіў сваё, не чапляйся, – неяк нясмела загаварыла Рыма. Столькі выпіў, што нам усім столькі не выпіць...

– Вось кінуў яе, – Клава паказала на бутэльку, – дык машыну купіў, сам катаецца і нас падвозіць. Праўда, Сяргей? А Рыме цяпер не жыццё, а маліна. Дажыла да харошых дзянёчкаў, дачакалася. Распаўнела, пахарашэла. Зайздросчу!

– Цяпер мне і выпіць не грэх, – бліснула золатам зубоў Рыма.

– Давайце, людзі, вып'ем яшчэ, колькі будзем цырымоніцца.

Выпілі, пачалі закусваць. Потым пілі яшчэ, хоць ён, Сяргей, таўхаў Рыму пад бок, каб больш не піла. Яна таксама сп'янула – пачырванелыя шчокі, няўпэўненыя рухкі рук, выкрыкванне... Вось нахінулася да суседа, Рамана, які, наўздзіў, як быццам працверазеў, і той пачаў ёй нешта шаптаць. Яна слухала з паўадкрытым ротам, нібы вось-вось гучна засмяецца, але не засмяялася, сказала нешта яму, ляпнула жартаўліва па плячы.

– Спяём маю любімую песню, – прапанавала ўсім Рыма і нясмела завяла:

Мы на лодочке катались...

Першы падтрымаў яе Раман, падтрымаў ва ўсю моц, ягоны голас віраваў, заглушаў усе іншыя – мусіць, гэта быў вопытны застольнік.

– А ты чаму не спяваеш? Спявай, гэта ж ваша любімая песня, – да Сяргея, які падсілкаваўшыся ледзь не за весь дзень, сядзеў проста так, схілілася Клава, на плячы якой увесь час ляжала рука Андрэя, якога яна адрэкамендавала сваім братам.

– Не, няма настрою.

Сяргей, сказаўшы, сагнуўся, каб падняць з падлогі скінутую Клавай лыжку, і бакавым зрокам убачыў, што Раман гладзіць пад сталом Рыміну руку. Сяргей ажно знерухомеў. Яшчэ больш наліўся злосцю, калі ўбачыў, што і яе рука пагладжвае Раманаву.

– Канчай сабантуй! Ану, усе з-за стала! Вылазьце, панове, вылазьце! – ўстаўшы закрычаў Сяргей. – Людзі спяць даўно, а вы п'янствуеце, разбэшчваецеся. Я не дазволю!

– Сярожка, што з табою? Мы ж нічога дрэннага не робім, нашу песеньку спяваем... – Рыма глядзела з неразуменнем.

– А з табою размова будзе асобная, – тым жа пагрозлівым тонам адказаў Сяргей. – Пачакай, я цябе пакатаю на лодачцы. Устань з-за стала! Марш ў машыну, дамоў!

– Ты чаго крычыш? Ты на каго крычыш? – прыўзняўся Раман. – Сядзь, хлопча. Там, дзе я, павінен быць парадак, зразумеў?

– А ты не сунься туды, куды цябе не сунуць. Выхавацель знайшоўся. Алкаголік, п'яніца, хворы чалавек – вось хто ты! – Сяргей дрыжаў, наліваўся яшчэ большым гневамі.

– Ха! Я – хворы чалавек? Гэта ты здохлы мярцвяк, тры дні да смерці табе. Паглядзі, на каго ты падобны, таранка ты сухарэбрая. Дык я ж цябе адной рукою, – Раман схапіў бутэльку, але за яго руку ўчапілася тоўстая бландзінка.

Сяргей штурхнуў Рыму ў плячо:

– Марш адсюль! Хутчэй! Каму сказана?

– Ой, нервы ў цябе, Сярожка, нікуды не годныя. Ой, і нервы...

– Ідзі-ідзі, дарогай паразмаўляем...

Рыма з жалем была павярнулася, але Сяргей узяў яе за плечы і пакіраваў яе перад сабою да дзвярэй. Калі сыходзілі ўніз, пачулі Клаўчына:

– Рыма, Сярожка!.. Вы ж там не бузіце, людзей не насмяшыце, а то будзе размоў...

– Не твая справа, – крыкнуў Сяргей. – Ідзі да свіх сабутэльнікаў, яны цябе чакаюць.

– Ой, асароміў, зганьбіў!.. Як табе не сорамна? – Рыма схавалася за галаву.

– Сорамна? Мне? Чаму, чаго? Хіба мне можа быць сорамна за тое, што стараюся, матляюся, мінуты вольнай не бачу, а ты тым часам п'еш ды...

– Выхоўвала я цябе, ды цалкам яшчэ не выхавала...

– Мяне выходзіла, а кім стала сама? Думаеш, я нічога не бачу, не ведаю?

– Ну, замоўкні ўжо, раскрычайся, а то павярнуся і назад пайду.

– Што? Назад пойдзеш? Ён чакае цябе? Ідзі, ідзі! – Сяргей

прыпыніўся – яны ўжо вышлі з пад'езду – рукою паказаў на вокны Клаўчынай кватэры. – Ідзі. Сярод такіх табе і месца. – Ён вылаяўся.

Але яна, спатыкнуўшыся, павярнула да вугла дома.

Не мог адчыніць дзверцаў – ключ не патрапляў у скважынку, а калі адчыніў і яны селі, не мог усунуць ключ запальвання. Нарэшце, патрапіў, засвяціліся прыборы. Ужо ледзь не завёў матор, як пачуліся крокі, голас: да машыны бег Раман.

– Ага, кавалер твой бяжыць, прыхільнік! Гэта сцэна!.. Дзверцаў не адчыняць, паехалі! Няхай Рома падыхае свежым паветрам!

Узроў матор, і Сяргей глянуў назад. Дзверцы былі адчынены, у машыну ўлазіў Раман.

– Навошта адчыніла? – Сяргей увесь падаўся да Рымы.

– Я не адчыняла, ён сам паспеў.

– Я адчыніў сам, не верапенься, хлопча, – ад Рамана патыхнула перагарам.

– Вылазь! Вылазь з машыны!

– Вылезу, мне не патрэбна твая машына. Рыма, на адну хвілінку можна цябе?

Сяргей міжвольна сцяўся: што яна скажа?

– Сярожка, я зараз...

– Ах, ты зараз?.. Дык ты ўжо гатова вылезці? Сядзіце, панове, паехалі!

Машына рванула наперад. Некалькі секунд, і яна крута ўзяўшы ў бок, выскочыла на слаба асветленую галоўную вуліцу горада.

Кінатэатр, кіёскі, банк, пошта, парк – усё прамільгнула збоку, машына з грукатам панеслася ўніз – пачаўся круты спуск, замошчаны камянямі.

– Ой, Сярожка, не гані, спыні! Мне страшна...

– Сядзіце, панове, сядзіце, трымайцеся адно за аднаго. Я вас правязу, я вас пракачу, вы ж заслужылі у мяне...

Машыну падкідала, трэсла, хістала, яна гула і трымцела, а ён гнаў яе хутчэй і хутчэй. Аўтобусны прыпынак, скрыжаванне, магазін, кантора будаўнічага ўпраўлення, меблевая фабрыка, пара закаханых, маслазавод... Паварот без скрыгату тармазоў, і наперадзе, трохі збоку, – шырокая паласа возера жоўта-чырвонага ад агнёў жалезабетоннага завода.

– Сяргей, перастань гнаць! Я баюся, мы разаб'ёмся! Ой, мне страшна, я хачу выскачыць!..

– Не пішчаць, – скрозь зубы сказаў Сяргей.

І раптам машына віхлянулася: вываліўся Раман. Толькі на адно імгненне скасіў вочы Сяргей убок, як адчуў, зразумеў: страціў раўнавагу, машыну павяло ўправа, вось адным колам яна павісла – адхон.

– А-а-а!.. – дзіка закрычала Рыма.

Машина ўдарылася аб зямлю перадам, высока падскочыла і ўдарылася затым задам, потым цяжка, як вялізная жаба, плюхнулася у прыгожае жоўтае разводдзе возера. У цьмянае неба ўзляцеў фантан, мноства струмянёў і пырскаў.

Пругкай хваляй перакуліла вузкую, на доўгім ланцужку, лодку.

МАТЧЫНА СЭРЦА

Больш вольна і ўпэўнена ён адчуў сябе ў прывакзальнай прыбіральні. Дзіва ў гэтым не было. У Генадзя змалку надаралася нямала пякучых, горкіх хвілін, калі яму пагражалі пук крапівы, кулак ці яшчэ што, а пазней – “кол” за паводзіны, і ён тады часцяком ратаваўся ў прыбіральні – спачатку ў сваёй, што за домам, а пасля, вучнем ужо, – у школьнай. Яго чакалі, яго шукалі, а ён браў дзверцы на кручок ды сам сабе хіхікаў, сам сябе ўхваляў за кемлівасць і хітрасць.

Зараз Генадзя ніхто не шукаў, ніхто і нідзе не чакаў, але выходзіць ён, як і ў тыя даўнейшыя гады, не спяшаўся. Тут, у прыбіральні, здавалася яму, не так балюча пякло ў правым баку – недзе ў самай сярэдзіне рэбраў, не так бухала-торгала ў патыліцы. І на душу тут клалася нейкая спакойнасць, бяздумнасць, балазе, нікога ў прыбіральні, акрамя яго, не было. Поезд ужо даўно пататахкаў далей, і тыя колькі чалавек, якія сюды пахапліва забягалі, даўно пакіравалі хто ў пасёлак, дамоў, хто на аўтобусны прыпынак, каб ехаць далей, на аўтастанцыю, што была ў цэнтры горада.

Але вось адтуль, з перону, даляцелі галасы. Яны бліжэлі. Хто гэта? І няўжо сюды? Генадзь палахліва замітусіўся, пачаў для блізіру падшморгваць штаны. Сюды ідуць, двое. Зусім маладыя хлопцы, амаль падлеткі. Апануты аднолькава: у салатавых кашулях з вялікімі белымі гузікамі, у рыжаватых памятых штанах. Вясёлыя, гагочуць – мусіць, заядлыя дружбакі. Генадзь крыва ўсміхнуўся. З гэтымі, калі што якое, ён мог бы справіцца і адзін...

Хлопец, што быў бліжэй да яго, выняў з задняй кішэні штаноў кругленькае люстэрка, пачаў глядзецца, кіпцямі папраўляць кучмастыя валасы. Падышоў другі, узяў у яго люстэрка, таксама паглядзеўся, тое-сёе паправіў.

– На танцы, рабяты? – гулліва, па-свойску спытаўся Генадзь.

– Ага. Думаем схадзіць, – адказаў гаспадар люстэрка. Быў ён буйнагаловы, з ружова-пухлаватым тварам, але вузкі ў плячах і ўвесь нейкі нязграбны.

– А што? Схадзіце, патанцуйце. У вашым узросце гэта найлепшы занятак, – сказаў Генадзь на правах больш сталага чалавека. – Дай, я гляну на сваю фізіяномію, даўно ўжо яе не бачыў.

Хлопец усміхнуўся, працягнуў люстэрка. Генадзь перш за ўсё ўбачыў у люстэрку ладны жоўта-сіні “ліхтар” пад правым вокам. Бач, суткі мінулі ўжо, а ён сядзіць як толькі што намаляваны. Драпіны каля вуха трохі зажылі. Разявіў рот – угары, злева, прагал – не было чатырох зубоў...

– Вельмі дзякую. Агляд закончаны, – Генадзь аддаў люстэрка, хмыкнуў. Так, перапала яму, дасталася, патрэбен адпачынак, такі-сякі рамонт і, што самае галоўнае і прыкрае, – матэрыяльныя затраты. Гэта ўжо як піць даць: без зубоў на людзі не сунешся.

Хлопцы пайшлі, а ён нібыта прадаўжаў глядзець на сябе ў люстэрка і заплюшчыў вочы ад таго, што зноў яму прыйдзецца пачынаць з самага нуля. На душы было прыкра, агідна, але – не безнадзейна. Не першы раз у яго такое было, калі, здавалася, усё, наперадзе пуста і глуха,

ніякага праменьчыка надзеі, ніякіх шансаў вылезці, выкарабкацца, каб быць там, дзе ўсе людзі. Але пасля неяк святлела, вымалёўвалася, лепшала... І кожны раз ратаваў, выцягваў яго адзін і той жа чалавек.

Генадзь выйшаў на перон. Недзе далекавата, на таварных пуцях, хрыпла і адрывіста перагаварваліся маняўроўшчыкі, а тут перад ім ляжалі роўненькія шнуры рэек, прамавугольнікі шпал на шчабёнцы. Пільней паглядзеў на самыя бліжня рэйкі, дзе спыняюцца звычайна пасажырскія цягнікі. Добра ўезджаныя ды натруджаныя, яны свінцова блішчэлі паверхняй, беглі хутка, як глянуць, направа і налева. Ператвараліся ў далечы ў цьмяныя пасачкі, у прывіднасць. Падумаць толькі: куды было занесла яго вась па гэтых вузенькіх рэйках! Генадзь у здзіўленні ажно хітнуў галавою, ад чаго збіўся набок яго светла-ружаваты чуб. І што не менш дзіўна, – па іх жа, гэтых рэйках, ён прыехаў назад! Вось такі, як стаіць – жывы і амаль здаровы. Цуд, ды і толькі!..

Аднекуль, з-за крывой, прычухкаў цеплавоз, тарабанячы за сабою доўгую чараду цыстэрнаў. Генадзь адступіў крокаў на колькі, чакаючы, калі на яго наляціць тугі струмень паветра з пахам мазутнага жалеза, пылу. Але што гэта? Машыніст, далёка высунуўшыся з кабіны, усміхаўся яму і махаў у знак вітання рукой. Смолка! Яго былы аднакласнік і пастаянны сусед. Смолка нешта пракрычаў. “Прывет, Вырвіч!” – здалося Генадзю.

– Прывет, прывет, – са смехам мовіў Генадзь і таксама памахаў рукой.

Сам сабе дадаў: – Ты ўсё ездзіш па рэйках, усё глянецеш іх, каб не паіржавелі. Глянцуй – глянцуй, такі ў цябе хлеб, ты – раб сталёвых магістраляў, Смолка.

Непрыемнае паветра пругка, віхурна налятала на яго ад цыстэрнаў, матляла калошыны, чуб, і ён, не дачакаўшыся апошняй цыстэрны, павярнуў да вакзала. Увайшоў у скверык і толькі тут схапіўся-пашкадаваў, што не было з сабой фотаапарата. Добры здымак мог бы пстрыкнуць – Смолка сам на яго наехаў, так гожа ўсміхаўся ды махаў – толькі здымай. Сімпатычна магло б атрымацца. Ах, шкада! І ў газету можна было б шпурнуць, і ў часопіс у які-небудзь. Ляпнуў сябе па баку, на якім, бывала, прывычна боўталася сумка з усім яго фотаначыннем – дудкі, сумкі не было, не пачувалася яе важка-прыемнае боўтанне, толькі пякло-шчымела недзе ў рэбрах.

Над чыгуначным пасёлкам браўся надвячорак ранняй сухой восені. Спрактыкаванае вока Генадзя скмеціла барвянае лісце на разгалістых клёнах, што стаялі пад вокнамі дашчанага будынка станцыйнай канторкі. Лісце, падсвечанае нізкім сонцам, нагадвала язычкі полымя, і ён здзівіўся: як хутка прабегла лета! Ці даўно ён здымаў гэтыя клёны, калі яны браліся першай, такой свежай ды пяшчотнай зелянінай, а вась цяпер у іх пачынаюць гуляць барвы. Яшчэ з тыдзень, і яны пажоўкнуць напалавіну. Генадзь паўзіраўся на лістоту клёнаў, памеркаваў інакш. Не, не так і хутка прайшло лета. Гэта ж колькі чаго пабачыў ён, дзе пабыў! І чаго толькі не было з ім за гэтае лета!..

Аднак варушыць нядаўняе мінулае не хацелася, і ён зноў скіраваў вочы на клёны. Эх, зрабіць бы каляровы здымак! Любата была б. Хаця не, сярод гэтых клёнаў няма такога, які б крануў душу. Безаблічныя яны нейкія, не цікавыя. У лесе, у парку трэба шукаць такі клёнік, які мог бы крануць: дрэвы, гэта ўжо даўно дакумекаў Генадзь, не аднолькавыя, як і людзі. Нейкую арыгінальнасць трэба ў іх шукаць, нейкую ізюмінку. Тады яно і атрымаецца, тады і надрукуець. А вась каля тратуара рабіна. Маладая, з ярка-чырвонымі, можа, першымі гронкамі. Не, гэта не гронкі, гэта смех адзін: па якіх дзесяць каліваў. А вунь дзяўчына чэша насустрач. Якая лёгкасць, якая стройнасць! Чак-чак-чак... А твар? Нічога і з твару, нос, праўда, нейкі дужа ўжо шырокі. Але сфатаграфавачь яе можна было б, калі б паставіць, напрыклад, паміж бяроз у лесе ды калі б трымала ў руцэ галінку, з якой ападае лісце.

Дзяўчына была ўжо зусім блізка. Генадзь, замарудзіўшы крок, павярнуўся ў бок: нельга, каб яна ўбачыла ягоны “ліхтар”. Але чым бліжэй да шашы, што бегла паўз прывакзальную

плошчу, тым людзей большала. Сярод іх маглі быць знаёмыя, і Генадзь узяў управа, на сцэжку, што круцілася паміж дрэўцаў. Яна выводзіла на шашу там за канторкай і воданпорнай вежай. Неўзабаве ён быў на роднай вуліцы, каля невялічкага доміка, што ціха, як бы ўкрадліва, стаяў пасярод іншых дамоў, высокіх ды шырокіх. Калі ішоў вуліцай, той-сёй, убачыўшы яго, Генадзя, нібыта не верыў сабе і доўга глядзеў услед. Таму перад весніцамі, ушчэпленымі ў аблуплены ды перакошаны плот, за якім зелянеў пакручасты бульбоўнік, ён прыпыніўся, штурхнуў іх рукою і хутка пакіраваў па сцэжцы-баразне да дзвярэй. І толькі тут, ля дзвярэй, спыніўся і, заплюшчаўшы вочы, ускінуў галаву: уяўляў, што з ім зараз можа быць, і як бы набіраўся духу.

Веранда сустрэла яго тымі ж, ранейшымі рэчамі. Малыя, наўскос, шыбіны завешаны ўжо трохі парызэлымі гардзінамі. На газавай пліце – каструля з нейкім кампотам і лыжкай. У вугле – чырвоны газавы балон, а побач, злева, старая шафа, па гадах старэйшая за Генадзя. На хатняй сцяне, на вешалцы – фуфайка, фартук, халаты, яго, Генадзя, блакітная куртка, выбівалка з кароткай, адламанай ручкай. Пад вешалкай гумовыя боты, тапкі, некалькі пар туфляў – пакрыўленых, пляскатых...

Усё ў маці як было, і нешта зашчымела ў ім, сціснулася. Так, у маці жыццё тое ж, той жа парадак. А ў яго? Тысячы кіламетраў прашураваў туды і назад! А што выедзіў, з чым прыехаў? І ён яшчэ, на гэты раз перад дзвярыма ў хату, ускінуў у хваляванні галаву, зажмурыўся.

Дом дыхнуў на яго пахам яблыкаў. У Генадзя казытнула ноздры, засмактала ў жываце. Два дні, лічы, нічога ў роце не было, акрамя піва... У доме было ўжо прыцемна, і Генадзь быў пацягнуўся рукой да ўключальніка, але спахапіўся, не ўключыў святло і нават парадаваўся, што ў прыцемках яго твар не будзе добра бачны. Дзе ж маці? Дзе яго Антонаўна? Нешта не відаць. Найначай, куды выйшла. Не, дома, ляжыць у ложку, вунь рыпнулі спружыны.

– Хто там прыйшоў? – пачуўся яе стомлена-хваравіты голас.

Генадзь заплюшчыў вочы, як бы змёр і выдыхнуў:

– Гэта, мама, я, твой сын. Ты мяне не чакала?

– Гена, ты? – моцна рыпнуў ложка, і з-за шырмы як бы выкацілася маці – ускудлачаная, напалоханая.

– Ну, я. Не бачыш хіба? – Ён заўсміхаўся аднымі вуснамі, не паказваючы зубоў, павярнуўся да яе трохі бокам, каб хоць не адразу змеціла “ліхтар”.

– Ну што – з’явіўся – не запыліўся? – Пышныя грудзі маці высока напяліся і апусціліся, уся яна як бы абвяла. – Ой, ой... Парадаваў маці. Як трыста рублёў табе давала, дык лепей бы я іх у печ укінула, у полымя, хоць было б дыму больш у коміне. Тры сотні развёз, праматаў! Не, я не магу, мне дрэнна, зараз я павалюся...

Маці захліпала, ступіла колькі крокаў, абсунулася на канапу, абхапіла галаву рукамі. Генадзь маўчаў. Ён ужо адчуў некаторую палёжку: самае страшнае – першыя мінуцы сустрэчы ўжо мінулі.

– Сядзь каля мяне, Гена, – праз слёзы сказала яна. – Сядзь і скажы, што мне з табой рабіць, колькі мне з табой мучыцца. Ты паглядны хлопец, высокі, сімпатычны, тваёй знешнасці могуць толькі пазайздросціць. А здольнасці твае? Ты ж таленавіты! Мне многія гаварылі, што ты майстар па фатаграфіі, прыроджаны майстар. А гэта так цэніцца ў наш час, гэта ж такая грашовая работа! А які толк ад тваіх здольнасцей, ад твайго таленту? Вот сядзь і скажы, чаму ты зноў мяне падмануў, чаму ты раз-два і прымчаў з Хабараўска? Не, ты сядзь, я хачу паглядзець табе ў вочы.

– Ну, добра, сяду, калі ты так просіш. – Генадзь хуценька прайшоў міма яе і сеў на канапу бокам, каб не было бачна “ліхтара”.

– Гавары. Расказвай, як выкінуў на вецер кроўныя мае грошы. Я слухаю цябе.

– Ну, разумееш, прыехаў я ў Хабараўск, знайшоў вуліцу, дом знайшоў, кватэру. Ткнуўся, а бацькі дома няма. – Хто вы будзеце? – пытаецца яна.

– Хто гэта “яна”?

– Ну, жонка яго, другая жонка. Высокая такая, дзябёлая, кілаграмаў сто будзе, не меней. Кажу, што я яго сын, родны сын, з горада Рэчынска Длусскай вобласці, прыехаў, каб пабачыць, каб на работу памог прыстроіцца па маіх схільнасцях. Ну, я ёй раскажваю пра сябе, а яна нічога, маўчыць, толькі натапырылася, глядзіць неяк перакошана. Бачу: ад гэтай бабы нічога мне не свеціць. Быў я, праўда, ветлівы з ёй, такі абыходлівы, культурны. А тады яна і сказала: – Яму аднаму на прапой не хапае, а тут другі яшчэ заявіўся. – Э-э, думаю, справы дрэнь. Але аглоблі не паварочваю, цягну хвіліну за хвілінай.

– А хоць сесці яна запрасіла?

– Доўга стаяў, а тады сказала, каб сеў.

– Есці дала чаго? Ты ж столькі ехаў...

– Не-а, нічога не дала. Пакуль ён не прыйшоў.

– П’яны прыйшоў ці цвярозы?

– Пад мухай. Мяне спачатку не пазнаў, думаў, што гэта так нехта. А тады пазнаў, доўга руку мне трос, прыціскаў да сваіх хілых грудзей.

– Дык ён худы, недагледжаны?

– Ну, такі не гладкі... Працуе шафёрам на будоўлі, калыміць памалу на “чарніла”. Ай, паглядзеў я – нічога ў яго там зайздроснага, жонка – гром-баба, ён у яе, не сумняваюся, пад пятою. Можа, яна і б’е яго нават, калі здрава насёрбаецца...

– Так яму і трэба, няхай б’е. Ён гад і нікчэмнік. Колькі здароўя ён адняў у мяне сваім п’янствам! Думала, што ў магілу загоніць. А калі пачаў у другіх начаваць, узяла дый кінула. Такой, як я, яму век не знайсці.

– Гэта ясна, як дзень. Абсалютна ясна. Ён, нябось, сто разоў пакаўся, што...

– Ну, далей раскажвай, – перапыніла маці. – Чаго ты там не застаўся?

– Дык жа не спадабалася мне там. Усё нейкае чужое, не такое, як у нас. Ходзіш адзін, як пень. Бацьку што – у яго работа, сябры-выпівохі, яму не да мяне.

– Ну во – а ты думаў, што ён цябе там чакае не дачакаецца, узяў у галаву: паеду, ён мне дапаможа, у газетах глядзі мае здымкі Амура, тайгі... А я ўзяла, дурніца гэтая, ды паверыла, думала, што і праўда будзе ў цябе добры кавалак... Дык ці паступаў ты там на работу?

– Ну. Дні тры папрацаваў. – Генадзь чамусці ўсміхнуўся. – На маслазаводзе, гэтым быў... як яго... Адным словам, у кацельні быў.

– Божа-божа – у кацельню залез!.. Ты ж мне абяцаў, што ў газеце будзеш або ў часопісе працаваць, што там месцаў такіх навалом. Ці ж для таго я цябе пускала, каб ты залез там у кацельню? У кацельнях бруд, сажа, мазут і адны толькі п’яніцы. Дык і ты да п’яніц? А я ж табе тысячу разоў гаварыла, што нельга піць, Гена, прападзеш, калі піць будзеш. А ты... грошы ўсе развёз, да капейкі?

– Ага. Нічога не засталася.

– Ох, гора ты маё горкае!.. Калі ты, Гена, розуму набярэшся? Жыць не можаш, абсалютна не можаш. Я яму і тое, і гэтае, і пятае-дзясятае, а ён мне перажыванні ды бяссонніцу. Ну, што мне з табой рабіць? Скажы сам, што рабіць з табою?

– Есці дай. Прагаладаўся я. – Ён паглядзеў на яе з замілаваннем. Так глядзяць на маці вельмі ўжо спешчаныя дзеці. Унутры ў ім ужо была ціхая, надзейная радасць. Любіць яна яго, ой любіць! Ён жа добра ведае сваю безадмоўную, бясконца добрую Кацярыну Антонаўну. Яна заўсёды пакрычыць, павычытвае яго, пабядуе трохі, а тады і паспагадае, даруе ўсё. Хаця не, рана яшчэ радавацца: “ліхтар”, зубы, апарат...

Павохкаўшы, Кацярына Антонаўна падалася ў пярэдні пакойчык. Ён слухаў, як яна там адчыняе-зачыняе столік, стукае посудам, а ў думках хваліў сябе за лоўкасць, вытрымку. Ні ў якім Хабараўску Генадзь не быў і ніякага бацькі не бачыў. Не даехаў ён да Хабараўска. Трошкі, але не даехаў. Спачатку, ехаўшы, доўга піў віно ў адзіночку – не было нешта партнёраў, а потым, недзе за Масквой, падсела некалькі хлопцаў – па вярбоўцы ехалі ў Сібір. Дык з імі ён “гудзеў” некалькі сутак, пакуль у вагоне-рэстаране не ўзнялі грандыёзную бойку. Цікава, ці ачухаўся той праваднік? Здрава з’ездзіў яму па карку Алег: праваднік пераляцеў цэраз столік і гэхнуўся аб падлогу так, што адлівалі. Ну і Алег! Сілы ў яго, як у зубра. Ну, міліцыя іх і ўзяла, усіх узяла. Праўда, яго, Генадзя, адпусцілі праз чатыры дні: ён нікога не біў...

– Ідзі еш, – стрымана, як бы з дакорам мовіла маці.

Генадзь борздка падхапіўся і тут жа войкнуў: вельмі балюча аддалося ў правым баку. Пачула яна ці не яго войканне? Мусіць, не.

– Што ты там, га? – усё-такі пачула яна.

– Проста так, стаміўся за дарогу, вагонныя колы ў галаве стукаюць. – Асцярожна выйшаў у пярэдні пакой, ціхенька сеў за стол. Кацярына Антонаўна пацягнулася да ўключальніка, але ён рашуча замахаў, каб не ўключала святло, маўляў, гэта лішняе, міма рота лыжку не панясе.

Генадзь павадзіў лыжкай у талерцы, размешваючы ў баршчы смятану, сербануў яго і як не заенчыў: там, дзе былі выбіты зубы, ажно засмылела.

– Чаго ты, сын? Вельмі гарача? Няпраўда, боршч не вельмі гарачы, ты такі любіш. – Яна падыйшла да самага стала, угледзелася ў Генадзеў твар і ўбачыла “ліхтар”. Адхіснулася, заплакала. Ён маўчаў, бо ў роце яшчэ пякло. Калі боль прыціх, патлумачыў, што нічога страшнага не было і няма, проста ён на адной станцыі бег купіць піва, зачапіўся за нечы чамадан і ўдарыўся аб рэйку...

– А зубы? Што ў цябе з зубамі? – выціраючы слёзы, з трагічнасцю ў голасе спытала маці.

– Зубы? Ну, узрадаваўся ён ад здагадкі, – тады ж і зубы трошкі прылашчыў. Во – чатырох няма.

– Ён разявіў рот, нагнуўся і паказаў ёй. Кацярына Антонаўна ўключыла святло, паглядзела ў сынаў рот і зноў заплакала.

– Перастань, мама. Бывае. У жыцці ўсялякае можа быць, – шчыра, угаворліва сказаў Генадзь і пачаў памалу сёрбаць.

– Калі сам паваліўся, дык гэта яшчэ поўбяды, сыноч. А можа цябе павалілі ды пабілі, га? Скажы, білі цябе? Можа бацька ўдарыў тады, у Хабараўску? Ты мне павінен усё раскажыць, я ж твая маці, больш ні ў мяне, ні ў цябе нікога няма, мы ўдваіх з табой. Каб не я, не ведаю, як бы ты жыў на свеце... Дык скажы праўду: пабілі цябе? Калі пабілі, то трэба ў міліцыю, у суд, гэта ж злачынства...

– Ніхто не біў мяне, ты не хвалюйся, мама. Сам, сам я вінаваты. Дык што мне – на самага сябе заяву пісаць у міліцыю? Па-моему, такога яшчэ не было на свеце, – ён засмяўся і, адкусіўшы ладны кавалак хлеба, пачаў есці яшчэ хутчэй.

– Ай, Гена-Гена!.. Колькі ў цябе прыгод, колькі ў цябе нягод. То адно, то другое; то адно, то другое... У мяне ад цябе ціск кравяны павысіўся. Вось хвілін пятнаццаць ты дома, а ціск мне павысіў ужо, можа крыз быць. А без мяне ты прападзеш, я ў гэтым не сумняваюся. Не можаш ты, сыноч, трымаць сябе ў руках, не можаш. Піць табе нельга, абсалютна нельга! Калі ты зразумееш гэта – не ведаю. У цябе галава такая, што ні кроплі спіртнога нельга браць у рот. Вось, думаеш, прыемна, лёгка мне на цябе глядзець? Баюся, што калі-небудзь без галавы прыедзеш. – Кацярына Антонаўна жаласліва паплюскала, падцяла вусны. – Сыноч-сыноч, няма ў цябе галавы на плячах. Мог бы такім чалавекам стаць, такім чалавекам!.. Усё мог бы мець, усё, чаго толькі захочацца.

– Стану я такім чалавекам, – адсунуўшы пустую талерку і ўздзеўшы на відэлец кавалак мяса, бадзёра сказаў Генадзь. – Не думай пра мяне абы-што, я паездзіў па свеце і зразумеў, што жыць трэба па-сур’ёзнаму, а не так, як я жыву. Вось даю табе слова, што плакаць з-за мяне ты больш ніколі не будзеш. Не верыш? Усё, хопіць, ну яго к чорту, такое жыццё, якім я жыву дагэтуль, яно да добра не прывядзе.

– Правільныя словы, Гена, вельмі правільныя, – праяснела тварам Кацярына Антонаўна. – Толькі не першы раз ты мне іх гаворыш, сыноч. Ужо шмат разоў я чула ад цябе такія словы, а ты пасля зноў за сваё, і мне ўсё горка і горка.

– Так, мама, казаў і кляўся нават. Я помню, гэта праўда. Але цяпер – усё, завязваю капітальна, я сам сабе не вораг. Пайду на работу тут, у Рэчынску, і буду кожны дзень займацца фотасправай, буду здымаць, праяўляць, пасылаць. Усе твае расходы вярну, нават з працэнтамі. Не верыш? Як хочаш, але я даб’юся свайго, я дакажу, хто я такі, Генадзь Вырвіч.

– То-та ж, сыноч. Не такія лапухі, як ты, зусім не нашто не здатныя жывуць прыпяваючы, усё маюць – і ў доме, і ля дома. А чаму? Таму, што галовы маюць, не п’юць, хочучь жыць – умеюць вярцецца. Той клубніку, той агуркі цягне на базар, той бульбу раннюю... А каторы возьме ды дом пабудуе, а потым прадасць. Глядзіш – грошай куча. А табе ж, Гена, ні сякерай не трэба, ні матыкай, у цябе ж талент прыродны...

– Усё, мама, я сказаў. Заўтра – на работу. Палучу палучку – накупляю паперы, хімікатаў і...

– Пагляджу ужо, сыноч, пагляджу. Толькі ж куды вось такі пойдзеш – з гузаком гэтым, без зубоў?.. – маці цяжка ўздыхнула, і ён добра зразумеў, чаму.

– Не хвалюйся, мяне прымуць і без зубоў, мне не першы раз.

– А... А дзе ж твой фотаапарат?

– Як гэта дзе? У мяне апарат, дзе яшчэ.

– Пакажы мне яго.

– Зараз не магу. Ёсць ён у мяне, ёсць, толькі даў аднаму сябру са станцыі, папрасіў сфатаграфаваць вяселле.

– А чаму ён цябе не папрасіў сфатаграфаваць тое вяселле? Пашкадаваў, што ты грошай заробіш? Ілжэш ты мне, сыноч, ілжэш.

– Ды не. Проста ён сам умее. А ў яго апарате рычажок паламаўся.

– Мяне, сваю родную маці падманваеш. Па табе бачу. Ты стаіш на сваім? Добра. Тады давай пойдзем да твайго сябра, хачу сваімі вачыма ўбачыць, што твой апарат у яго.

– Якая ж ты стала... Ну, у яго ён, у яго, чаго ісці...

– Тады скажы, хто гэта. Як прозвішча, дзе жыве.

– А якая табе розніца?

– Ясна, мне ўсё ясна. Не дам ні рубля. Ні на зубы, ні на апарат, ні на праявіцелі твае не дам ні капейкі. Хопіць смактаць з мяне кроў! Кідай піць, сам зарабляй і сам купляй. Вось такі мой сказ, Гена.

–Кіну і куплю, не плач. Ведаю, што мне рабіць.

Генадзь нервова вылез з-за стала, здаля кінуў костку ў памыйнае вядро.

– Не кідай! Ты не зарабіў нават гэтай косткі! – крыкнула Кацярына

Антонануна і заплакала.

Ён вылаяўся скрозь зубы, пайшоў у залу і ў знямозе ад усяго бэхнуўся на канапу. Праз колькі хвілін ён ужо пахрпваў у неглыбокім здарожаным сне. Кацярына Антонаўна падыйшла і зняла з яго ног туплі. Яна так і не даведалася, адкуль у Генадзя “ліхтар”, пры якіх абставінах пазбавіўся зубоў, дзе фотаапарат. Ён, калі, дабіраючыся назад, рабіў перасадку, выпіў на апошнія рублі дзве пляшкі віна і, сп’янеўшы, пайшоў у бліжэйшы парк, прычапіўся да нейкіх хлопцаў. Не памятаў з-за хмелю, што ім плёў, але, мусіць, узлаваў іх добра. Яны і далі па твары,

выбілі зубы, нечым жалезным ткнулі пад бок, адабралі апарат разам з сумкай, у якой было ўсё яго фотапрычындалле.

...Прачнуўся з радаснай думкай аб тым, што ён жывы, што ў родным доме. Лежаў і варушыў сківіцамі, языком, мацаў бок. Нічога, гэта ўсё мінецца, заживе, а вось як купіць апарат і ўсё, што да яго. Без апарата нават на “чарніла” не заробіш. І ён выбраў тактыку.

– Куды гэта настрапаліўся? – у пагрозлівым здзіўленні спыталася маці, калі ён, памыўшыся, апрануў пінжак і заклапочана ўзяўся за ручку дзвярэй.

– Куды казаў учора. Пайду работу шукаць, – адказаў з унуранай цвёрдасцю.

– Не гарыць. Пад’еш спачатку. Ды ўдваіх памяркуем, куды ісці, дзе шукаць. Не так гэта проста. – Кацярына Антонаўна, адчувалася, шмат перадумала за ноч, вунь якая яна сур’ёзная, дзелавітая.

– Есці не буду.

– Чаму гэта “не буду”? У Хабараўску накармілі на паўгода?

– Ты мяне учора косткай папракнула...

– Дык і правільна зрабіла, калі папракнула. Цацкацца мне з табой, нячыцца, з хлапчынай у дваццаць чатыры гады? Я ў твае гады...

– Ну, добра, ты тут гавары, а я пайшоў, няма ў мяне часу слухаць твае канцэпцыі. – Генадзь рыўком адчыніў дзверы, загрузаў абцасамі па верандзе.

– Пастой, пачакай! Ты ў такім выглядзе на вуліцу ідзеш? – яна дагнала яго, учапілася за руку. – Вярніся ў дом, не кладзі на мяне сорам і ганьбу, я высакародная відная жанчына. Чуеш, Гена? Вярніся.

– Не, мама. Я ехаў да цябе таму, што там не мог... не змог бы без цябе не ў гэтым... матэрыяльным сэнсе, а ў гэтым... як яго... у маральным. Разумееш? Я твой сын, я...

– Ну, зразумела я, зразумела, Гена. Вярніся.

– ... без цябе ніякай радасці...

– Ну, разумею, ты любіш мяне. Як і я цябе. Пагэтаму не магу я цябе пусціць у такім выглядзе, не магу. Людзі будуць над намі смяяцца. Разумееш ты гэта ці не?

– Зразумеў, мама. – Генадзь як бы злітасцівіўся, падаўся назад. Ішоў, разуваўся і радаваўся: маці зноў у яго руках.

– Пасядзі дома з тыдзень, а то і два. Не гарыць. Ёсць жа што есці. Няхай злезе з твару гэтая фіялетавая шышка. На зубы дам грошай, зубы паставіш, – гаварыла яна, калі ён пачаў снедаць.

– А якія зубы? – ён стаіўся ў радасным чаканні.

– Залатыя, толькі залатыя. Без чаргі паставяць, я ўсё ўладжу, Вера Васільеўна мне не адмовіць. А ты ёй фоткі ўнукаў зробіш у знак падзякі, у яе ўнукі ўжо ёсць, памяць будзе.

– А... Я... Гм... Ты ведаеш, мама, маім апаратам добрых здымкаў не зробіш. Знасіўся ён вельмі. І тое ў ім, і гэта... Мне патрэбен новы, сучасны апарат.

– А колькі ён каштуе?

– Ну, гледзячы які. Рублёў двесці трэба. – Назваўшы цану, ён ніжэй схіліўся над талеркай з катлетами і бульбяным пюрэ – баяўся, што маці запратэстуете. Але яна толькі надзьмулася, спахмурнела, а тады сказала, што так ужо і быць – дасць яму і на апарат, каб толькі ён, Гена, паразумнеў і не піў, не швэндаўся дзе папала.

“Любіць яна мяне, вельмі любіць!” – у які ўжо раз за сваё жыццё зрабіў вывад Генадзь. І ён з запалам, з натхненнем пачаў абяцаць, што пачне новае жыццё, і яна будзе сынам вунь як ганарыцца.

СТАЛЫЯ ЛЮДЗІ

Паказвалі хакей – гулялі не лепшыя каманды, але яго амаль ніхто не глядзеў. Той, хто заходзіў у чырвоны куток, не затрымліваўся. Дазнаўшыся, якія каманды гуляюць і які лік, трохі глядзелі на сноўданне-мітусню хакеістаў і падаваліся назад, у пакоі, каб заняцца чым сваім. Паўловіч жа як сеў на крэсла насупраць тэлівізара, так і сядзеў.

Часам, калі хто стукне дзвярыма ці голасна загаворыць, Паўловіч паварочваўся і тады бачыў, што Стахоўская з паўсмешкай на вуснах вяжа і вяжа, а некалькі маладзейшых мужчын, яго, Паўловічавага, узросту, нібы прыліплі да яе, даймаюць распытваннямі, жартуюць, як бы сапернічаюць. Ну і Стахоўская! Сядзела б сабе ў пакоі, на мяккім ложку, ды і вязала б – без тлуму, без холаду, які так і бярэ за плечы – дзевы балкона ў чырвоным кутку шчыльна не прычыняюцца. Дык жа не, увесь вечар тут. Паўловіч не надта здзіўляўся. Пра Стахоўскую ён чуў, як-ніяк іхнія прадпрыемствы ў суседніх райцэнтрах, але аднаго і таго ж аб'яднання: яна на мэблевай фабрыцы, а ён на дрэваапрацоўчым.

Хакейны матч скончыўся, а Стахоўская вяжа і вяжа, і двое-трое курсантаў усё ля яе.

Паўловіч падняўся і, выходзячы, кінуў на Стахоўскую гулліва-насмешлівы позірк.

Стаяў у калідоры, прыхінуўшыся да парэнчы лесвічнай клеткі, курыў і міжвольна пазіраў у бок чырвонага кутка – ці хутка адчыняцца дзверы, куды, з кім пойдзе Стахоўская. Дзверы ўсё не адчыняліся, і выкурыўшы цыгарэту, Паўловіч прыпаліў другую. Міма, пасля вячэрняга туалету, праходзілі мужчыны – у пантофлях, майках, з ручнікамі цераз плячо, з мыліцамі, зубнымі шоткамі. Жанчын нешта не было відаць, мусіць, дзе ў кіно ці тэатры, а некаторыя, ведаў Паўловіч, менш кідкія ды сціплыя, рана кладуцца ў ложка, чытаюць. А вось Стахоўская па вечарах, здаецца, у горад не ходзіць і ў ложку не валяецца, цаляе быць на відавоку ў курсантаў. Яны падоўгу сядзяць у яе пакоі. Разы два ў пакоі Стахоўскай быў і Паўловіч. Сумная, пошлая трата часу! Карты, раённыя гісторыі, брыдкаватыя анекдоты... І позіркі – зырккія, нейкія падхалімскія, дагодлівыя – на кругленькую ўсмешыстую Стахоўскую. І яшчэ – яе незмаўкальны галасок, гульня ў прыстойную маладую жанчыну, якой проста цікава, не болей, бачыць побач старэйшых і маладзейшых за сябе мужчын.

Вось яна, паказалася. З тою ж паўсмешкай, мяккімі, плаўнымі рухамі, з высокай прычоскай, пуховай хусткаю на плячах. Нячутна перастаўляе паўнаватыя ногі у чырвоных, з белымі банцікамі, тапачках. І, вядома ж, не адна. З ёю двое мужчын – п'янтосаў, як іх зваў пра сябе Паўловіч.

Калі наблізіліся да яго, Паўловіча, ён адварнуўся, быццам рабіў апошнія зацяжкі.

Кароткі стук – і дзверы у пакоі Стахоўскай зачыніліся. Паўловіч яшчэ стаяў на тым жа месцы, калі дзверы прачыніліся.

– Эй, Паўловіч, заходзь да нас, не хапае чацвёртага кампаньёна, – сказаў яму знаёмы па розных нарадах Шацкі – эканаміст з люстэркавай фабрыкі.

– Ну, а што? Я згодны, – не стаў адмаўляцца Паўловіч.

Ён кінуў акурак, пайшоў пабавіць час. Заадно – паназіраць за Стахоўскай.

Паўловіч назіраў за ёю ўсе гэтыя дні. Стараўся зразумець, чаму яна развялася з Каноплічам. Канопліча Паўловіч ведаў даўно – жылі на адной вуліцы. Канопліч быў высокі, шырокі ў плячах. Жанчынам такія падабаюцца. І сур'ёзным ён быў, нідзе сябе не зганьбіў, працуючы страхавым агентам. Ад Канопліча Стахоўская нарадзіла сына, і праз якія два гады яны разыйшліся. Паўловіч здзіўляўся, чаму Канопліч застаўся без жонкі і сына – больш стрыманага ды цярплівага, чым ён, не адразу знойдзеш. І вось цяпер, калі Паўловіч пабачыў Стахоўскую ды паназіраў за ёю, ён з усё большай пэўнасцю думаў, што прычына ў ёй, што з-за яе Канопліч зноў у халасцяках. А яна, казалі, выйшла замуж.

Але Паўловічу нечага не хапала яшчэ, каб скласці пра Стахоўскую больш устойлівае меркаванне, каб падмацаваць свае думкі аб ёй. Яго як бы бянтэжыла тое, што яна ж увесь час на відавоку, не ідзе з кім-небудзь у цёмныя закуткі, нават у кіно не ходзіць. Значыць, не такая яна і разбоўтаная, як той-сёй казаў на дрэваапрацоўчым... І мо таму, каб пастарацца лепш зразумець Стахоўскую, Паўловіч з радасцю адгукнуўся на запрашэнне Шацкага.

Не паспеў зайсці ў пакой, як ужо ўбачыў усмешку Стахоўскай. Яна прыбірала са стала кнігі, усміхалася, і, як звычайна, было не разабраць, што ў яе усмешцы.

– О, прыйшоў мой ганарлівы сусед! Тады гульня будзе, – яшчэ шырэй заўсміхалася Стахоўская.

– А я, спяшаюся далажыць, у карты гуляю кепска, – адказаў Паўловіч стрымана.

– Ну, а я зусім не ўмею, – Стахоўская паставіла яму крэсла, запрасіла сесці.

– Што ж, сябры, тады спадзявайцеся на партнёраў. Добры партнёр у карцёжнай гульні – вялікая сіла, – сказаў Шацкі і сеў так, каб гуляць на пару са Стахоўскай. Паўловічу дастаўся ціхмяны Гуцін.

Гульня пачала ўваходзіць у каляіну. Гуцін усё нешта моршчыўся ды крывіўся і яшчэ ні разу не адбіўся ад Шацкага. Стахоўская залівіста смяялася і хадзіла пад Паўловіча. Усё складвалася для яе і Шацкага найлепшым чынам, Паўловіч і Гуцін атрымалі чатыры дурні запар, як раптам Стахоўская кінула карты, ашчаперыла галаву рукамі, заморгала вачыма. Мужчыны насцярожыліся.

– Гуляць больш не буду. Ціск... – сказала ціха Стахоўская.

– Во, чулі? Ад жанчын заўсёды сюрпрызы, – прабасіў Шацкі. – Калі такая справа, то пойдзем, сябры. Я ведаю, што такое ціск...

– А хто не ведае гэтага? – як бы здзівіўся Гуцін і са шкадаваннем паглядзеў на карты.

На іх словы развітання, гатоўнасці дапамагчы Стахоўская напаўголоса адказала:

– Нічога, лепш стане... Вось толькі паляжу...

Яны выйшлі. Шацкі з Гуціным пасунуліся па калідоры шукаць новага занятку, а Паўловіч пайшоў у свой пакой, які быў амаль насупраць пакоя Стахоўскай.

Ён сабраў тое-сёе падсілкавацца. Еў вяндрліну з гарчыцаю, піў кефір і думаў пра Стахоўскую. Аказваецца, у гэтай весялушкі павышаны крывяны ціск. Чаму? Так проста, сам па сабе, ці ад перажыванняў, нервовасці? Вунь як ураз перамянілася, пазмрачнела – і не пазнаць. Загадкавая весялушка!..

Паўловіч сіліўся ўспомніць, што яшчэ казалі пра Стахоўскую там, у яго гарадку, але новага нічога не мог успомніць, акрамя ранейшага: модна апрацаваць, вельмі сочыць за сабою, любіць гулянкі...

Ён лёг у ложка і, каб захацець спаць, пачаў чытаць часопіс. Калі адчуў, што хутка засне, падняўся, выключыў святло.

Паўловіч ужо заснуў, калі ў дзверы пастукалі.

Нацягнуў сарочку, штаны, босы падыйшоў да дзвярэй.

– Прабачце за турботу. Дрэнна Стахоўскай. Вельмі дрэнна... Я з кіно прыйшла, а ў яе рвоты... Я выклікала "хуткую", дык казалі, што зараз машыны няма, усе на лініі. "Хуткая" блізка адсюль, а калі напямкі, цераз паркан, то яшчэ бліжэй... Можна б вы схадзілі туды, гэтак было б надзейней...

Перад Паўловічам стаяла Ратушная – пажылая, у акулярах, жанчына, якая жыла са Стахоўскай у адным пакоі.

– Я б схадзіла сама, але боязна, час позні...

– Вам ісці не трэба. Не хвалюйцеся, я схаджу. Я за пяць мінут збегаю.

Паўловіч хуценька апранаўся. Вунь як яно павярнулася ў Стахоўскай. З выгляду такая спакойная ды ўсмешлівая і – гіпертанічны крыз. Паўловіч тое-сёе ў медыцыне кумекаў: жонка яго ў раённай бальніцы медсястрой.

Ён прабег па заснежаным двары, віхляючы між дрэў і слупоў, потым пралез праз вузкаваты пралом у паркане і апынуўся на добра асветленым падворку станцыі “хуткай дапамогі”. Праз хвіліну-другую, думаў, будзе бегчы назад, але машыну прыйшлося пачакаць. Калі ж яна паявілася, Паўловічу казалі ехаць з фельчарам – паказваць дарогу, каб хутчэй патрапіць да хворай.

Фельчарам аказаўся яшчэ малады, але грузнаваты мужчына. Паўловіч прывёў яго ў пакой Стахоўскай, пабыў, пакуль той рыхтаваўся зрабіць укол, і падаўся да сябе.

– Вялікі-вялікі вам дзякуй, – сказала яму ў дзвярах Ратушная. – Цяпер усё будзе добра.

Ці будзеш ж? Вельмі ўжо дрэнна Стахоўскай. Пакуль не заснуў, Паўловіч усё бачыў перад сабою яе расчырванелы, як бы прыпухлы твар, заплюшчаныя вочы, напуадкрытыя засмяглыя губы...

Назаўтра на занятках Стахоўскай не было, і ўсім не хапала яе, гаворкай і проста ў абыходжанні. А можа, Паўловічу гэтак здавалася? Не, не здавалася. Неяк нецікава на лекцыях без яе, без гуллівай увагі, позіркаў, што звычайна прыцягвала Стахоўская да сябе з усіх бакоў. Паўловіч, схіліўшы галаву набок, яшчэ і яшчэ згадваў, як перад заняткамі да яго зайшла Ратушная і сказала, што Стахоўскай намнога лепш, што яна, Стахоўская, вельмі-вельмі ўдзячная яму. І яшчэ дадала, што Стахоўская аддзячыць яму, абавязкова аддзячыць. Ён тады запратэставаў – маўляў, аб чым гаворка, ні якой аддзякі не трэба, але Ратушную, здаецца, не пераканаў і вось цяпер лічыў сваё становішча няёмкім: чым і калі надумаецца гэтая Стахоўская яго аддзякаваць? Хоць бы не надумала чаго лішняга, не асароміла – падспудная думка аб тым, што яна пуставатая, здатная на лёгкадумнасці, жыла...

...Паўловіч схадзіў у сталоек і наважыўся прагуляцца. Тут, у цэнтры горада, было два кінатэатры. Ён пабыў ля кожнага. Паглядзеў – пачытаў рэкламу, патаўхаўся каля білетных касаў. Не, фільмы не зацікавілі, і, накупіўшы газет, ён пакіраваў памалу ў інтэрнат. Газеты чытаў доўга. Чытаў і слухаў па радыё модныя песні.

Газеты прачытаў, радыё выключыў – канцэрт скончыўся, і перад Паўловічам, як ужо не раз за гэтыя доўгія дні, паўстала пытанне: чым заняцца яшчэ? Хіба схадзіць да каго пагуляць у карты або ў шахматы? Ці ўзяць ды зайсці да Стахоўскай, маўляў, як яе здароўе?

Выйшаў у калідор. На паверсе цішыня. Ясная справа: хто пайшоў куды, хто ў ложку ляжыць... Пастаяў, паслухаў ды вярнуўся назад – паспаць да вечара...

Не мог заснуць, пакуль не ўзяў часопіс. Пагартаў, трохі пачытаў і заснуў.

Прачнуўся ад стуку ў дзверы. У пакоі ўжо было цёмнавата: спаў гадзіны паўтары. Асцярожны стук паўтарыўся, і ён не сумняваўся, што гэта нехта з жанчын.

– Пачакайце... Адзін момант, – выгукнуў, адзяваючыся. – Яшчэ адзін момант... усё, можаце заходзіць.

Дзверы прачыніліся. Высокая прычоска, падведзеныя броўкі, цёпленькая ўсмешка – Стахоўская. З нейкай кніжкаю ў руцэ.

– Можна ці яшчэ нельга? – прыпынілася яна ў парозе.

– Можна-можна. Праходзьце, – Паўловіч паказаў ёй на крэсла, а сам захінуў ложак коўдраю, паправіў падушку.

– Нешта вы адны. Дзе ж ваш напарнік? – Стахоўская села, абцягнула прыгожую – белую з блакітнымі пасачкамі – блузачку.

– Паехаў дамоў. Па тэлеграме. У яго там нехта цяжка захварэў...

– Ой, не дай бог хварэць! А мне пасля ўчарашняга – цьфу, цьфу – лепш.

– Бачу-бачу. Учора выгляд у вас быў, прабачце, плачэўны...

– Ой, не кажыце. Думала, што загнуся... Так дрэнна мне было, так дрэнна... Ніколі такога не было. Колькі жыву. І я прыйшла вас падзякаваць. Вялікі вам дзякуй, Паўловіч. Вы мяне выратавалі. Здаецца, каб яшчэ пяць хвілін – і ўсё, Стахоўская на тым свеце... Вось была б хохма – прыехала на курсы і памерла! – Стахоўская засмялася, і яе дробны смех напоўніў пакой срэбранымі бомамі.

“Ну вось – учора памірала, а сёння заліваецца”, – пакпіў Паўловіч. Ён падыйшоў да стала, сеў.

– Вось вам, ад усяго сэрца, – Стахоўская падала Паўловічу кніжку, глядзела на яго з усёй сваёй натуральнай і штучнай прыгажосцю.

– Ну навошта ж?.. Падумаеш – фельчара прывёў. Подзвіг! Адчуваю – у мяне павышаецца ціск...

– Не адмаўляйся. Гэта падарунак, а ад падарунка адмаўляцца нельга. І не будзьце надта ўжо сціплым, вы ж мяне выратавалі. Я так і напісала, вось прачытайце, – Стахоўская адгарнула вокладку.

“О божа!.. Нават с прысвячэннем! Што ж яна напісала? “Майму добраму выратавальніку... калегу... Жадаю вам быць... у добрым настроі... спяваць і ніколі не сумаваць”. Што ж за кніга? Песеннік? Так, песеннік”.

– Вы здзіўлены? То не здзіўляйся. Я ведаю, што вы любіце песні.

– Гм... Адкуль вам вядома?

– Яшчэ Канопліч мне гаварыў, памятаю. Ды я і сама чула, як вы спявалі вось у гэтым пакоі.

– Ну, што ж, гэта праўда, я спяваць люблю. – Паўловіч пачаў гартаць песеннік. – Ого, тут шмат хорошых песень! Някепска, някепска...

Стахоўская задаволена засмялася, і ў пакоі зноў рассыпаліся срэбраныя званочкі. Яна ўзяла у Паўловіча песеннік, пагартала.

– Самая любімая мая песня, – Стахоўская паказала старонку і дапытліва паглядзела на Паўловіча.

– “Не шукай ты мяне”? Што ж, густ у вас не блгі. А я думаў, што вам больш падабаюцца іншыя песні, скажам пра рамонкі-люцікі...

– Ой, ну што вы?.. Як вы маглі пра мяне такое падумаць? – яна паміргала вачыма, як бы зніякавала. Шчокі яе запунсавеліся.

– Не чырванейце, калі ласка. Гэта я проста так, жартую. Я хацеў бы паслухаць, як вы спяваеце гэтую песню.

– Як спяваю? Як умею, так і спяваю.

– Ну, тады давайце – як умееце...

– Добра, спяю. Толькі цур – не смяяцца. Дамовіліся?

– Дамовіліся.

Стахоўская лёгкім рухам паправіла на грудзях бліскучы ланцужок, пасур’ёзнела. Потым падсунула песеннік да сябе, трохі пракашлялася і заспявала:

Не шукай ты мяне
Сярод жытніх палёў,
Не шукай, не шукай...

Паўловіч у здзіўленні знерухомеў. Спачатку падзівіўся непасрэднасці, смеласці Стахоўскай – глядзі ты, заспявала! – і тут жа – яе голасу. Голас у Стахоўскай быў моцны і

прыгожы, добра пастаўлены, як гавораць музыканты. І яшчэ адчувалася, што яна ведае цану свайго голасу, сваіх здольнасцей.

Калі к сэрцу майму
Ты шляхоў не знайшоў,
Не шукай, не шукай...

Голас шчыраваў, ён дакараў і клікаў, спавядаўся і сумаваў, змушаў Паўловіча забыць, што з ім цяпер, што з ім здарылася ў апошнія годы. Голас жыва, да драбніц, як бы высвеціў рэчку з нізкімі зялёнымі берагамі, што цякла пасярод вёскі, дзе прайшло яго юнацтва, дзе ў тую пару вечарамі дзяўчаты часта спявалі гэтую тужліва-светлую, багатую на пачуцці песню.

Не шукай, не шукай, –

выводзіў на паўторы голас. Стахоўская глядзела прама перад сабой і, здаецца, нічога не бачыла – яна была ўся паглыблена ў сэнс слоў і мелодыі. Паўловіч быў пачаў назіраць за ёю, як раней – трохі звысака, крытычна, але яго такі позірк, такія думкі, нібы натыкнуўшыся на вабнасць голасу, на сур'ёзны, прачулы выраз твару Стахоўскай, патухлі, зніклі – нібы патанулі ў спевае. І перад ім зноў і зноў паўставалі рэчка з вербамі, воблік вясковых дзяўчат і хлопцаў, якія хадзілі над ёю, у якіх нараджалася – цвіло маладое, чыстае каханне... І тады заспяваў і ён. Стахоўская ледзь заўважна, куточкамі вуснаў усміхнулася – у знак адабрэння – і прадаўжала весці мелодыю далей. Але вось яна зноў зірнула на Паўловіча, у яе вачах ён прачытаў ухвалу, здзіўленасць: ён не толькі не псуе яе спеў, але дапамагае яму, узбагачае яго. Іх галасы перапляліся, яны дапаўнялі адзін аднаго і гучалі так суладна ды прыгожа, што Паўловіч захваляваўся: ніколі, ні з кім не было ў яго такога сугучнага прыемнага спеву. Яму здалася, што іх галасы не толькі пасуюць – галасы ў іх для таго, каб гучаць і гучаць разам...

Апалі, змоўклі апошнія гукі песні. Паўловіч і Стахоўская маўчалі. І яму, і, бачна было, ёй не верылася, што ў іх атрымаўся такі цудоўны дуэт. Уражаныя, узрушаныя, яны пазіралі адно на аднаго спачатку сур'ёзна, а потым з усё больш шырокімі ўсмешкамі.

– Ну і Паўловіч!.. – нарэшце сказала Стахоўская.

– Ну і Стахоўская!.. – у тон ёй адказаў Паўловіч.

І яны засмяліся.

– Давайце праспяваем яшчэ якую-небудзь песню, – прапанавала яна і глянула на яго зычліва, даверліва.

– Давайце.

Стахоўская пачала гартаць песеннік. Ён сачыў, як узлятаюць над старонкамі лёгкія, добра дагледжаныя рукі, і думаў пра яе.

– Давайце паспрабуем вось гэтую, – Стахоўская падсунулася да яго бліжэй, паклала песеннік так, каб зручна было б глядзець і яму.

Цяпер Стахоўская заспявала без прынукі:

Купалінка, купалінка... –

пачала яна дрыготкім высакаватым голасам. Калі Паўловіч далучыў да яго свой густы барытон, яна ўскінула на яго вочы, і заспявала мацней, вальней. Было відаць, што яна спявае, і думае. Аб чым? Аб кім? Песня гучала з усё большай суладнасцю і пранікнёнасцю, і Паўловічу чуліся ў ёй не толькі перажыванні маці. У гэтым невясёлым, скрушлівым спевае ён улаўліваў боль. Боль яго, Паўловіча. Боль яе, Стахоўскай. Адкуль гэты боль, аб чым – ён не ведаў, не разумев. Ён толькі адчуваў, што гэты боль збліжае яго і яе, што ён у іх даўно. Гэты боль-жалыба працінаў душу.

– Я зараз... вярнуся, – раптам, абарваўшы песню, сказала Стахоўская і кінулася да дзвярэй. Ён чуў яе крокі па калідоры, чуў, як стукнулі дзверы яе пакоя. Нібы аблытаны супярэчлівымі пачуццямі, Паўловіч выняў хусцінку – у горле стаяў даўкі ком... “Ах, песня!.. Ах, жыццё-жыццё!” – паўтараў ён пра сябе.

Стахоўская прыйшла хвілін праз дзесяць, ад нядаўніх слёз вочы яе былі вільготныя.

Паўловіч маўчаў. Маўчала і яна. Абодва сядзелі на тых жа месцах.

– Хораша спявалі, а цяпер хораша маўчым, – сказаў ён нейкім агрубелым голасам.

Стахоўская нічога не адказала. Вочы яе міргалі часта, нібы шнурачкамі веек нешта адгортвалі. Паўловіч жа ачомаўся, пацвярдзеў, як бы пасміхнуўся: вось развярэдзіў душу Стахоўскай! Гэта ёй не з Шацкім ды Гуціным зубкі лупіць ды анекдоцікі слухаць. А можа не вельмі і развярэдзіў? Можа гэта яе акцёрства? Не, здаецца, не. У яго ж і самого вочы ледзь не ўзмакрэлі.

– Люба, чаму ты развялася з Каноплічам? – спытаў ён, упершыню звярнуўшыся да яе па імені і на “ты”.

– А хіба можна жыць з бервяном? Думаў, што яна будзе гаварыць яшчэ, а яна не гаварыла. І толькі, мусіць, змеціўшы яго недаўменне, дадала:

– Канопліч – гэта дубовае бервяно.

– Так ужо і дубовае...

– Ну, не дубовае, дык яловае... Няма розніцы, усё роўна бервяно. Паверце... павер, Леанід, гэта вельмі дрэнна, калі чалавек... драўляны. Я трывала, трывала і...

– Ну, а другі твой муж лепшы?

– Адкуль табе вядома, што я за другім?

– Вядома. Цікавіўся...

– Не, Леанід, не лепшы. Хоць Лапацкі і не такі драўляны, як Канопліч.

– Які ж ён, Лапацкі?

– Эгаіст. На свет глядзіць толькі праз сваё “я”. Толькі. Канопліч выводзіў з сябе сваёй маўклівай унурлівасцю, а гэты... – Стахоўская як бы разгубілася, як бы не ведала, што ж гаварыць далей, але, аблізнуўшы губы, паварушыўшыся, прадоўжыла: – Гэты дапякае фанабэрлівасцю, пыхаю. Столькі ў ім самазадаволенасці, пахвальбы, пыхі!.. Толькі і чую: “я”, “я” “я”... А ні на што не здатны! Так, выгляд трохі мае. І, між іншым, усё больш глядзіць у бутэльку.

– Дык у цябе, Люба, і з другім жыццё не вельмі ладзіцца?

– О, божа! Якое там жыццё? Кінула б і гэтага хоць заўтра. Кінула б! Ды сорамна перад людзьмі... А спяю дзе-небудзь ці патанцую – дзіка раўнуе...

– Так, так... Цяпер не цяжка здагадацца, чаму ў цябе павышаны ціск...

– Тут не толькі павышаны ціск, тут і больш страшнае можна схапіць...

– Ну, навошта так?.. Думаеш, ты такая адна? Жыццё не клеіцца ў многіх. А можа на тое яно і жыццё, га? Каго ні вазьмі, дык у кожнага ёсць клубочкі-вузельчыкі незадаволенасць, нараканні...

– І ў цябе, Леанід?

– Ёсць тое-сёе і ў мяне. Хіба ж я які святы? – ён паўзіраўся ў яе расчулена-адкрыты твар, нібы ацэньваючы, узважваючы ўсё, што яна яму сказала пра сябе і што паміж імі было зусім нядаўна. І як бы не жадаючы выглядаць такім самым, як Стахоўская, загаварыў больш пэўна, бадзёра: – Мне, Люба, мушу сказаць, у параўнанні з табою пашанцавала больш.

Гаварыў доўга, з усмешкамі, жартамі. Але праўды не сказаў. Не сказаў, што знешне ў яго сям’і ўсё ў парадку, не бывае скандалаў, боек. Ды няма той еднасці з жонкаю /дома ён часта яе называў ніцай скапідомкаю/, тых пачуццяў, якія б прыўнімалі над будзённасцю жыцця, уносілі б у яго цікавінку, радасць. Не сказаў Стахоўскай, што ён быў пачаў п’янстваваць – каб унесці ў жыццё нейкую разнастайнасць, вясёласць, быў завёў сяброую накшталт Шацкага, але калі

адчуў, што спустошыўся душою, што пачаў губляць да самога сябе павагу, узяў і кінуў гарэлку. Кінуў абмежаваных у інтарэсах сяброў, пачаў больш займацца сынамі: вучыў яго гуляць у шахматы, стаў правяраць школьныя заданні, хадзіў з ім у кіно, на каток. Жонка змеціла яго перамену, нават пахвальвала.

Стахоўская, слухаючы, усё ўглядалася яму ў вочы. Яна асвойталася, пасмялела. Паўловіч адчуваў, што яна пасмялела б яшчэ больш, калі б і ён пачаў скардзіцца на жонку, на жыццё – вунь як пільна, як бы з гатоўнасцю да нечага большага, што можа быць паміж імі яшчэ, углядаецца яна. Здаецца, працягні да яе плеч руку – і Стахоўская прытуліцца сама... Мусіць, яна чакала такога. Ужо колькі разоў прыўставала, папраўляла сукенку на каленях і падсоўвалася бліжэй. Мусіць, не дачакаўшыся жаданых для яе слоў, рухаў, сказала: “ Я зараз прыйду”, падхапілася і застукала па паркеце абцасікамі.

Зноў яе не было хвілін дзесяць. Калі вярнулася, села, весела ўсміхнулася.

– Давай, Леанід, праспяваем яшчэ адну песню. Ты яе ведаеш.

– Калі ласка. Толькі зараз святло ўключу.

– Ай, не трэба. Так лепш, – супыніла яна і пачала спяваць пра салодкую і горкую ягады. Паўловічу здалася, што ад яе пацягнула віном.

Счакаўшы, заспяваў і ён. І зноў у іх атрымалася суладна і прыгожа. І зноў у галасах Паўловіч улавіў той жа боль, іх боль.

– Божа мой, божа мой! – калі даспявалі песню, як бы прастагнала Стахоўская і закрыла твар рукамі. – Са мною такога век не было, век...

– А што, уласна, з табою? – знарк цвёрда, бадзёра спытаў Паўловіч.

Яна не адказала.

Абое маўчалі.

– Леанід, у якім годзе ты скончыў інстытут? – гэтым пытаннем яна захапіла яго зняцку.

– У семдзсят першым.

– А я на год пазней. Я на Украіне вучылася. І ты можаш уявіць? – у мяне была магчымасць ехаць на работу на завод – на твой дрэвапрацоўчы завод!

– Ого! А, уласна, што з гэтага?

– Ну, як гэта што? Мы б з табою сустрэліся, абавязкова сустрэліся б, і ў нас усё магло быць інакш.

– Не лёс, Люба, – як бы з жалем мовіў Паўловіч.

– Не лёс... Не лёс... – прашаптала Стахоўская. – Учора, Паўловіч, ты мяне выратаваў, а сёння... А сёння ты зрабіў мяне хвораю. Такой хвораю!.. Я ж с першага дня звярнула на цябе ўвагу. Сур’ёзныя такія, удумлівыя, цікавыя. З густам апранутыя. Бачыла, што і ты на мяне пазіраў. Можа, няпраўда, скажаш? Але я не думала, не магла падумаць, што ты такі... асаблівы, што ўмееш так разумець усё. І спяваць. Прыеду дамоў, буду спяваць і чуць твой голас. Буду спяваць гэтыя ж песні...

– Не трэба так, Люба. Навошта? Мы ж дарослыя, сталыя людзі, у нас сем’і, дзеці...

– А шчасце? Ці ёсць у мяне, у цябе шчасце? – гучна спытала Стахоўская.

– Кожны чалавек творца свайго шчасця...

– Дзякуй, Паўловіч, за школьную ісціну. Скончацца курсы, дадому прыеду і Лапацкага вон. Каб і духу не было. Чым так жыць... Лепш буду адна. Людзі? Што хочучь, няхай і гавораць. Я хачу жыць, а не сохнуць ад суму, ад гэтага ідыёцкага недаверу, кантролю. “Куды збіраешся? Дзе была? Чаго на таго паглядзела, чаго на гэтага?”... Цьфу! Ведаеш, чаму мяне ўчора ціск хапіў? Пісьмо атрымала ад Лапацкага. Божа, што напісаў! І падазрае, і абвінавачвае, і праклінае... Жудасць! Думае, што я якая.. Між іншым, не адзін ён памыляецца ўва мне. Памыляюцца і іншыя, Паўловіч.

– Магчыма. – Ён адчуў дакор.

Паўловіч глядзеў на твар Стахоўскай у водблісках далёкіх, ад станцыі “хуткай дапамогі”, агнёў і ўсё больш разумеў Любу, сябе. Яна прыйшла, адкрыла сваю душу, ускалыхнула ягоную, перайначвае, ратуе не толькі сябе, але і яго. Так, ратуе. Паўловіч толькі на імгненне ўявіў, як цікава, весела жылося б ім са Стахоўскай, і сподам душы адчуў іскрыстую, нейкую вясновую радасць. Але надта многае стрымлівала, палохала яго, і ён сядзеў, угнуўшы галаву, не працягваў да яе руку, нават не варушыўся, толькі паўтараў тое ж: “Ах, песня!.. Ах, жыццё-жыццё!”

У самы разгар зімы на дрэваапрацоўчым была нязвыклая ажыўленасць: “штурхач” аднекуль з Архангельска прывёз ажно пяць вагонаў лесу. Пасля нервавання, прастояў гэта было свята. А дні праз тры на завод прынёсся ганец з мэблевай фабрыкі – пазычыць лесу. Дырэктара не было, ганец – вёрткі, у чорным кажуху – сноўдаўся па кабінетах. Паўловіч улучыў момант і як бы між іншым спытаў у яго пра Стахоўскую. І ганец сказаў, што Лапацкага яна, сапраўды, праганяла, а потым яны памірыліся, жывуць.

“Вось так, галубка. Нідзе ты не дзенешся. Будзеш жыць – трываць. Як жыву – трываю я”, – з нейкім шкадаваннем уздыхнуў Паўловіч.

СЫН

Жонка прыўзняла з падушкі галаву, зірнула на Зміцера.

– Я паеду, – сказаў ён.

Жонку нібы ўкалола. Яе вочы зыркнুলі злосна і пякуча.

– Паедзеш – не вяртайся.

– Добра, – адказаў Зміцер.

Яна дагнала яго ў калідорчыку.

– Ну, чаго цябе панясе? У такое надвор’е. Ты ж паслухай, які дождж лупіць! Чуеш? – гаварыла жонка. – Будзе добрае надвор’е, дык мы ўсе ўтраіх паедзем.

Вочы яе глязелі ўмольна і пранікліва. І ён адчуў: яшчэ хвіліна-другая, і яна зможа пераканаць яго, што сапраўды лепш яму не ехаць.

Яна ўчула, што ён крыху завагаўся, і гаварыла, гаварыла, раз-по-раз згадваючы пра дождж.

Але ён узяў чамаданчык, павярнуўся да дзвярэй.

– Прастудзішся – лячыць не буду! – крыкнула наўздагон Ліза. Яна крычала нешта яшчэ, але ён ужо зачыніў дзверы.

“Вось так, галубка. Досыць! – спускаючыся па лесвіцы, са зласлівай радасцю думаў Зміцер. – Паедзем, кажа, утраіх. Ведаю я твае паездкі! Як да сваёй матулькі, дык ты не адкладваеш. А як да маіх – усё лепшага надво’я чакаеш. І мяне не пускаеш. Досыць!..”

Ён падлічыў, што за ўсё лета ў Красоўцы быў разоў якіх пяць. Пяць разоў за лета! А да Красоўкі не трыццаць кіламетраў і нават не дваццаць. Усяго восем. Як толькі пачне калі збірацца – Ліза насуперак. І не столькі крычыць, колькі ўгаворвае. Ды пераканана, неадчэпна, лезе прама ў душу! І шмат калі дамагалася свайго. А Зміцер потым упікаў самаго сябе, што зноў паслухаўся, не настаяў на сваім.

Ля дзвярэй пад’езда ён нацягнуў на галаву шапку, зашпіліў усе гузікі балоніевага плашча. Потым ступіў на мокры асфальт. Цаляючы між лужын, пайшоў.

Прахожых не было, ніхто не замінаў, і Зміцер ішоў размашыста, хутка. Ішоў, а перад вачыма стаяў комін на даху бацькавай хаты. Ён бачыўся яму ўсе гэтыя даждлівыя дні і не даваў яму спаць. Бачылася яшчэ адно: як у хаце па белай роўнядзі печы, сцякаюць рудыя пісягі вады. Бацька глядзіць на іх і думае пра яго, Зміцера. Яшчэ вунь калі абяцаў прыехаць, каб заляпіць чым-небудзь на даху дзіркі ля коміна, і во ўсё не прыязджае... А маці, яго добрая гаваркая маці, кажа: – Каб па сваёй ахвоце, то сто разоў быў бы тутак. А то ж камістрыня ў яго цяперака.

Зміцер ведае, што Ліза не надта падабаецца маці. Яшчэ калі прыязджалі першы раз, яна змеціла ў Лізе ганарыстасць, цвёрдасць і сказала неяк яму. А ён тады толькі пасмяяўся. Цяпер усё часцей не да смеху...

А дождж сыпаў і сыпаў. Цьмяна блішчэў асфальт, усё навокал прыціхла, слухала адно шапаценне дажджу. Не раз пазіраў Зміцер на неба, але на праясненне нідзе не паказвала. У аўтобусе было шмат свабодных месцаў. Ён жа, ткнуўшы кандуктару манету, стаў спераду, ля шафёра. Каб потым выйсці першым. З-пад колаў машын, якія ехалі насустрач, ляцелі пырскі, вада сцякала з іх ветравога шкла. На лабавым шкле аўтобуса, у якім ехаў Зміцер, узмоцнена працавалі “дворнікі”. Нечакана мільганула трывожная думка: можа, аўтобус у бок Красоўкі не ходзіць?

З гэтай думкай ён шыбаваў у аўтастанцыю. Пахмурная цётка з чырвонай павязкай на рукаве на яго пытанне адказала:

– Чытайце аб’яву.

Зміцер паглядзеў на сцяну, унізе, на сіняй дошцы, убачыў шматок паперы. На ім было напісана, што маршрут закрыты.

Заставалася адно: шукаць якога шафёра, каб падвёз да Прудка, а тады – пехатой.

Зміцер выйшаў на шашу, дзе яна паварочвала на ўсход, у бок Сожа, пачаў чакаць. Праехалі дзве легкавушкі з нейкімі вузламі, прывязанымі зверху. За імі паважна каціўся самазвал. Зміцер сунуўся на шашу, падняў руку. Самазвал спыніўся. Але дзверцы не адчыняліся. Ён падбег, пацягнуў ручку на сябе, выгукнуў у кабінку:

– Да Прудка можна?

Шафёр, пажылы дзядзька, няветліва зірнуў на мужчыну і сказаў:

– Магу і далей.

– Далей не трэба. Мне да Прудка толькі. А потым убок, на Красоўку.

Машына паехала. Падгопваючы на сядзенні, Зміцер павесялелымі вачыма глядзеў на мокрую дарогу, на тое, з якім спрытам шоргалі па шкле “дворнікі”.

– Хто там у цябе? – нечакана спытаўся шафёр.

– Дзе? У Красоўцы? – перапытаў пасажыр і пачырванеў: выйшла, як у таго шкаляра. – Там маці жыве, бацька.

– Ёсць і ў мяне маці, – сказаў шафёр. – За Бранскам. Восем гадоў не бачыліся. Ніяк выбрацца не магу. Усё збіраюся з’ездзіць.

– А чаму? – асмеліўся спытаць Зміцер.

– Ды так... Непрыкметна неяк час бяжыць і бяжыць.

Зміцер адчуў у апошніх словах шафёра і яго позірку нібы папрок за сваю цікаўнасць і зразумеў, што той не мае ахвоты размаўляць. Зацяўся, толькі руль круціць. Як слімень, тлусты, твар ажно чырвоны. Жыве, відаць, дай божа... А вось ужо і Прудок – маленькая вёсачка паміж шашой і лесам.

Зміцер выняў шафёру паўрубля. Той узяў як не дзвюма рукамі. Праз якую хвіліну Зміцер зноў быў пад дажджом. Самазвал памчаў далей, вунь ужо ледзь заўважны.

Зміцер выйшаў на вузкаватую лясную дарогу. Ішоў, уважліва глядзеў пад ногі, каб не спатыкнуцца аб карані. А іх як на зло ўсё большала. Тоўстыя і тонкія, прамыя і пакручастыя, яны густа пераплялі дарогу. А збоч, стройныя і гонкія, стаялі сосны з шырокімі кронамі, праз якія дробна сеяўся дождж. Проста і мудра ў лесе. Спакой, дрэвы, карані... Дрэвы стаяць таму, што ў іх карані. Але яны не толькі стаяць. Яны жывуць імі, пускаюць іх у зямлю, каб трымацца мацней, каб не засохнуць і не баяцца ніякага ліха. А ў людзей як? Хіба не таксама?

Ён зноў пачаў думаць пра шафёра. Маці, можа, чакала-чакала яго ды перастала. А там хто ведае... У чужым хіба ўсё зразумееш? Тут у сваім глядзі ды глядзі. І ён адчуў раптам, што і самаму неяк няёмка. Хіба не мог ён прыехаць ці прыйсці ў Красоўку раней? Мог! І месяц таму назад, і нават тыдзень. Дык жа не. То сам не вельмі рваўся, то Ліза адгаворвала.

А цяпер колькі ўжо льюць дажджы... І перад ім зноў узнік комін на бацькавай хаце, печ з рудымі падцёкамі да самай падлогі...

Ён зірнуў на гадзіннік, пайшоў хутчэй.

У хату ўваходзіў ціха. Як заўсёды, калі доўга не быў.

Бацька драмаў на канапцы, маці не было. Зміцер паставіў чамаданчык, вярнуўся ў парог, зняў шапку і плашч, выцер ручніком мокры ад дажджу і поту твар.

– Што – змачыла? – з канапкі на яго з цікаўнасцю пазіраў бацька.

– Ды не, – хутка адказаў Зміцер. – У мяне ж плашч. Калені вось толькі мокрыя.

Ён падыйшоў да бацькі, паздароўкаўся.

– Аўтобус ужо во трэці дзень не ходзіць, – сказаў бацька. – Каля пераезда, кажуць, размыла насып.

– Я так і ведаў. – Зміцер сказаў і схамянуўся: ён жа не паглядзеў на печ! Павярнуўся ў яе бок, глянуў і сумеўся: ніякіх пісягоў не было.

– Комін што... не цячэ хіба?

– Даўно, – адказаў бацька.

– А папраўляў ... хто?

Бацька закашляўся, падняўся з кушэткі і, пратэпаўшы на слабых нагах да ходзікаў, падцягнуў гірку. Толькі тады паглядзеў на Зміцера і сказаў:

– Старая хадзіла Лявона прасіць.

– І што – паправіў?

– Ну, а як жа. Валтузіўся доўга.

– Добра зрабіў? Надзейна?

– Добра. Прынёс аднекуль бляху, прыбіў на вільчыку, а ля коміна загнуў уверх. Вада ўся сцякае па баках, на шыфер.

– Вось табе і Лявон!.. – з радасцю і расчараваннем усклікнуў Зміцер: – Я таксама зрабіў бы. Я гэтак умею.

Але бацька быццам не пачуў. І гэта засмуціла Зміцера.

– Што вам яшчэ зрабіць трэба? – спытаўся, падышоўшы бліжэй.

Бацька падумаў і адказаў:

– Дроў у нас малавата. Старая пайшла во к лесніку, каб даў дзе якога пацэпніку. Вазы тры хаця б назбіраць...

Зміцер сеў на канапку, угнуў галаву. Мокрыя былі штаніны, ногі ў туфлях, але ён сядзеў і думаў. Увайшла маці, здзівілася:

– Глядзі-тка, Змітрачок аб'явіўся. А мы ўжо думалі, ці не захварэў ты тамака. Не? Ды я так і ведала... Ну, а як там пачувае сябе мой унучак?

– Віцька? Нічога. У садзік ходзіць, і ўвесь клопат, – ажывіўся Зміцер. – Падрас. Ужо вялікі. Паставіць на трумо сваіх мядзведзяў і камандуе, каб рабілі фіззарядку: раз-два...

– Эйш ты!.. – падзівілася маці. – Ён характарам па Лізе. Увесь як тая камістрыння.

Маці паўсміхалася, зыркнула на яго штаны, тут жа сказала, каб зняў і лез на печ.

– Не палезу. Адзену якія старыя, рабіць што-небудзь буду.

– Што ты будзеш рабіць у такое надвор'е? – запярэчыла маці. – Я во пакуль да лесніка схадзіла, дык фуфайку змачыла.

– Ну, як? Ці дасць дроў? – спытаўся бацька.

– На тым тыдні, сказаў. Алешніку.

– Ну вось і добра. Я тады падскочу высекчы, – сказаў Зміцер.

– Як хочаш. Мы і самі можам што прыдумаць, – адказала маці за сябе і бацьку.

– Нічога прыдумваць не трэба. Я ужо вунь колькі сякеры ў руках не трымаў.

Маці слухала яго гэтыя словы і шукала яму штаны.

Пераапрунуўшыся, ён узяў чамаданчык, выняў і паклаў на стол важкі скрутак каўбасы, бляшанку кансерваў, бутэльку гарэлкі. Убачыўшы бутэльку, бацька сказаў маці:

– Схадзі пакліч Лявона. Няхай вып'е.

– І то праўда, – згадзілася маці. Мы яго тады частавалі, а выпіць дык і не было чаго. Краму нашу то адчыняць, то зачыняць. І хадзіла па Лявона, але ён не прыйшоў. Быў на ферме.

Зміцер пачаў туды-сюды соўгацца па хаце, шукаючы якога-небудзь занятку. Патаптаўшыся, лёг на ложак. Шмат аб чым думалася яму, але неяк неўпрыкмет задрамаў і заснуў...

Прачнуўся, адчуўшы, што яго нехта тузае за нагу. Расплюшчыў вочы – Лявон. Стаіць, усміхаецца. У ватуўцы, гумовых ботах. Яны парукаліся, і адразу маці паклікала іх да стала.

Лявон, як яго помніў Зміцер, быў хлопцам хвацкім, працавітым. Бацьку яго забіла на вайне, жыві ўвесь час з маці. Ажаніўся і разам з жонкай працуе ў калгасе. Усё будуюцца. То хату новую ставіў, то хлявы, то лазню, то веранду... У калгасе – на кані, а дома, як вольная хвіліна, – з сякерай. Зміцер адкаркоўваў бутэльку, наліваў гарэлку, аб тым-сім гаварыў з шыракатварым усмешлівым Лявонам.

Выпілі, пачалі закусваць. Зміцер цяжка ўздыхнуў. У галаву ўдарыў хмель. Гледзячы ў акно, за якім усё церушыў дожджык, сказаў:

– Жыццё... Няпростая штука – жыць...

Лявон еў на поўны рот, з цікаўнасцю пазіраў на Зміцера. Выпілі яшчэ. Зміцер, не закусіўшы, зноў глыбокадумна прамовіў:

– Жыццё... Жыццё – гэта...

– Ты яго, Лявон не слухай. Еш, – падыйшла маці.

Зміцер быў змоўк, але тут жа загаварыў зноў:

– Мяне падвозіў адзін шафёр. Восем гадоў не быў у маці, разумееш? І недалёка да яе. Усё ніяк выбрацца не можа.

– Ды ад вас чакай чаго хочаш, – урасцяжку прамовіла маці.

Лявон засмяяўся. А Зміцер апусціў вочы, калуцаўся ў талерцы відэльцам і ўсё ўздыхаў.